



Александр



КУРЬИИ

Париж интимный



Александр Куприн
Париж интимный (сборник)

«Public Domain»

Куприн А. И.

Париж интимный (сборник) / А. И. Куприн — «Public Domain»,

Книгу составили романы, рассказы и очерки А.И.Куприна (1870—1938), созданные им после Октябрьской революции. Эмиграцию Куприн ощущал как личную трагедию и в своем творчестве часто возвращался к русской истории, к ярким впечатлениям своей молодости. Любовь к дореволюционной Москве освещает парижские очерки писателя, отлученного от Родины. Роман «Жанета» (1933) повествует о горькой судьбе нищего парижского эмигранта: бесконечно одинокий, он привязывается к встреченной им на улице маленькой бездомной девочке, но и эта радость оказывается для него недолговечной.

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Колесо времени | 5 |
| Глава I | 5 |
| Глава II | 10 |
| Глава III | 13 |
| Глава IV | 17 |
| Глава V | 19 |
| Глава VI | 21 |
| Глава VII | 24 |
| Глава VIII | 27 |
| Глава IX | 30 |
| Глава X | 34 |
| Глава XI | 38 |
| Глава XII | 43 |
| Глава XIII | 48 |
| Жанета | 51 |
| I | 51 |
| II | 53 |
| III | 56 |
| IV | 58 |
| V | 60 |
| VI | 65 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 86 |

Александр Иванович Куприн

Париж интимный (сборник)

Колесо времени

Глава I Гренадин

До чего, дружок, я рад этой встрече! Посчитай-ка! От шестнадцатого года до двадцать восьмого – целых двенадцать лет не видались. Гарсон, еще два белого с гренадином! Вот, никак не могу приучить этого красавца наливать в стакан сначала чуточку гренадина, а потом уже доливать вином: так и смешивается скорее, и не надо ихних гнусных оловянных ложечек. Раз сорок ему говорил. Нет, привык по-своему, и ничем его не переупрямишь. Такой консерватор... Ах, милый мой, слезы мне глаза щипят. Встают давние, молодые годы. Москва. Охотничий клуб. Тестов. Черныши. Малый театр. Бега на Ходынке. Первые любвишки... Сокольники... Эх, не удержать, не повернуть назад колесо времени. Великое это свинство со стороны матери-природы.

Обидно вот что: встретились мы целый час назад. Ну, конечно, оба сначала не узнали друг друга, потом искренно обрадовались, крепко, по-братски, поцеловались. Но подумай: только теперь, и то с большим усилием – я нашел наконец тебя тогдашнего, прежнего тебя, самого предприимчивого из нас троих, веселых мушкетеров. В первый миг – признайся – обоим нам стыдно и жалко было глядеть друг на друга: так ужасно изжевали нас челюсти беспощадного времени, а злая жизнь покрыла наши лица, как корою, бороздами, морщинами, жестокими складками. Но, слава богу, теперь оттаяла, отпала вся наросшая кора. Ты опять тот же. Дай мне еще раз крепко пожать твои руки! Так! Здравствуй. Приветствую тебя в славном городе Тулузе. Гарсон! Литр белого вина. И оросите его гренадином. Оно спокойнее, если с запасом.

Ты говоришь – многовато? Пустяки. Вино легкое, а гренадин только отбивает привкус серы. Смотри, не обижайся. Подметил я твой моментальный взгляд, искоса. Знаю, у тебя мелькнула мысль про меня: «Не опустился ли?» Нет, дружище: я человек не опустившийся, а так сказать, опустошенный. Опустела душа, и остался от меня один только телесный чехол. Живу по непреложному закону инерции. Есть дело, есть деньги. Здоров, по утрам читаю газеты и пью кофе, все в порядке. Вино вкушаю лишь при случае, в компании, хотя сама компания меня ничуть не веселит. Но душа отлетела. Созерцаю течение дней равнодушно, как давно знакомую фильму.

Вот ты, давеча, вкратце рассказал о своем двенадцатилетнем бытии. Господи! что ни поворот судьбы, то целая эпопея. Какая-то дикая и страшная смесь мрачной трагедии с похабным водевилем, высоты человеческого духа со смрадной, мерзкой клоакой. Ты говорил, а я думал: «Ну, и крепкая же машинища человеческий организм!» А все-таки ты жив. Жив великой тоской по родине... жив блаженной верой в возвращение домой, в воскресающую Россию. Мои испытания, в сравнении с твоими, – киндершпиль, детская игра... Но в них есть кое-что занимательное для тебя, а меня тянет хоть один раз выплеснуться перед кем-нибудь стоящим. Трудно человеку молчать пять лет подряд. Так слушай.

Ты уж, наверное, догадался, что заглавие моего рассказа состоит только из трех букв «Она»? Но здесь будет и о моей глупости, о том, как иногда, сдуру, в одну минуту теряет человек большое счастье для того, чтобы потом всю жизнь каяться... Ах! не повернешь...

В четырнадцатом году, как, может быть, ты помнишь, я сдал последние экзамены в Институте гражданских инженеров, а тут подоспела война, и взяли меня в саперы. А когда набирались вспомогательные войска во Францию, то и я потянул свой жребий, будучи уже поручиком-инженером. Во Франции я был свидетелем всего: и энтузиазма, с которым встречались наши войска, и нашего русского героизма, а потом, увы, пошли митинги, разложение...

После armistice мне нетрудно было устроиться близ Марсели на бетонном заводе. Начал простым рабочим. Потом стал контрмэтром, потом – шефом экипажа и начальником главного цеха. Много нас, русских, служило вместе; всё бывшие люди различных классов. Жили дружно... Ютились в бараках, сами их застеклили, сами поставили печи, сами устлали полы матами. У меня был отдельный павильончик, в две комнаты с кухонкой, и большая, под парусинным тентом терраса. Питались из общего котла бараньим рагу, эскарго, мулями, макаронами с томатами. Никто никому не завидовал. Да, что я тебе скажу: надумали мы всей русской артелью взбодрить, на паях, свое собственное дело: завод марсельской черепицы. Рассчитали – предприятие толковое... Но вот тут-то и случился со мною этот перевертон. Хотя, кто знает, может быть, я и вернусь когда-нибудь к этому черепичному делу?

Сначала-то нам скучновато было. Особенно в дни праздничные, когда время тянется бесконечно долго и не знаешь, куда его девать. Природа такая: огромная выжженная солнцем плещина, кругом вышки элеваторов, а вдали мотаются жиденькие, потрепанные акации и далеко-далеко синяя полоска моря – вот и весь пейзаж.

Одна только отрада в эти тягучие праздники и оставалась: закатиться в славный город Марсель, благо по ветке езды всего полтора часа... И компания у нас своя подобралась: я – бывший инженер, затем – бывший гвардейский полковник, бывший геодезист да бывший императорский певец, он же бывший баритон. Компания не велика, але бардзо почтива¹, как говорят поляки.

Люблю я Марсель. Все в ней люблю: и старый порт, и новый, и гордость марсельцев, улицу Каннобьер, и Курс-Пьер-де-Пуже, эту сводчатую темнолиственную аллею платанов, и собор Владычицы, спасительницы на водах, и узкие, в размах человеческих рук, старинные четырехэтажные улицы, и марсельские кабачки, а также пылкость, фамильярность и добродушие простого народа. Никогда оттуда не уеду, там и помру. Впрочем, ты сейчас увидишь, что для такой собачьей привязанности есть у меня и другая причина, более глубокая и больная.

Так вот: однажды в ноябре, в субботу – скажу даже число – как раз 8 ноября, в день моего ангела, архистратига Михаила, зашабашили мы, по английской моде, в полдень. Принарядились, как могли, и поехали в Марсель. День был хмурый, ветреный. Море, бледно-малахитовое, с грязно-желтой пеной на гребнях, бурлило в гавани и плескало через парапет набережной.

По обыкновению, позавтракали в старом порту неизбежным этим самым буйабезом, после которого чувствуешь себя так, будто у тебя и в глотке и в животе взорвало динамит. Пошлялись по кривым тесным улочкам старого города с заходами для освежения, посетили выставку огромных, слоноподобных серых кротких першеронов и в сумерки разбрелись, угорившись завтра утром сойтись на старой пристани, чтобы пойти вместе на дневной спектакль: афиши обещали «Риголетто» с Тито Руффо.

Я всегда, по приезде в Марсель, останавливался в одной и той же гостинице, на другом краю города, в новом порту. Называлась она просто «Отель дю Порт». Это – мрачное, узкое, страшно высокое здание с каменными винтовыми лестницами, ступени которых угнулись посередине, стоптанные миллионами ног. Там, на самом верху, была низкая, но очень просторная комната. Она мне нравилась. Окна в ней были круглые, как пароходные иллюминаторы. Пол покрывал настоящий персидский ковер превосходного рисунка, но измызганный подошвами до нитей, до основы, до дыр. На стенах висели в потемневших облупившихся золоченых рамках

¹ Но очень добропорядочна (искаж. польск. ale bardzo poczciwa).

старинные гравюры из морской жизни. Эту комнату по субботам оставляли в моем распоряжении.

С хозяевами отеля я уже давно успел подружиться. Долго ли нам, русским, а в особенности ярославцам, как я?

Хозяин был добродушный четырехугольный неповоротливый человек. Марселец родом и бывший моряк, весь в морщинах, с ясным взором и спокойной душой. Хозяйка Аллегрия, в противоположность своему флегматичному мужу, была подвижная испанка, сильно располневшая, но еще не потерявшая тяжелой, горячей южной красоты. Это она была настоящей самодержавной правительницей дома, а прислуживал во всех семи этажах и внизу, в ресторане, некто Анри, с виду настоящий наемный убийца, а по характеру самый веселый, проворный и услужливый малый во всей Марсели. Куда этому чернокудрому красавцу! Гарсон, еще один гренадин с белым!

Часов в семь я пришел в отель пообедать, занял уютный столик в углу, заказал себе кое-что и в ожидании спокойно сидел, думая о различных случайных пустяках и лениво оглядывая публику. Ресторан этот, на редкость для невзрачной части города, просторный и светлый, не только опрятно, но даже кокетливо содержимый. Мы с тобой сходим туда когда-нибудь, если будем в Марсели. Двери выходили на гавань, и от нее доносились вздохи и всплески волн и запах моря.

Какие диковинные посетители за столами!

Арабы в длиннейших бурнусах, перекинутых через плечо живописными складками: фески красные, черные и вишневые; зеленые и белые тюрбаны, чалмы, плетенные из маисовой соломы, итальянские колпаки, маленькие, полуголые, похожие на обезьян моряки, черные и блестящие, как вакса, с курчавыми, взбитыми, подобно войлоку, волосами; матросы разных стран, сидящие отдельными кучками и крепко стучащие стаканами о столы, пестрый скачущий гомон разноцветных слов, и откуда-то – лень поглядеть откуда – вкрадчивые звуки гитары, сопровождающие сладкий тенор, поющий итальянскую песенку о том, как три барабанщика возвращались с войны, и у одного барабанщика был букет роз, а дочь короля, сидевшая у окошка, попросила: «Послушай, барабанщик, дал бы ты мне эти розы...» – «Дам тебе розы, если выйдешь за меня». А она отвечает: «Послушай-ка, барабанщик, пойди и спроси моего отца». – «Senti Sor Pré!»²

И вдруг произошел скандал. Какие-то цветные моряки, не то шоколадные, не то оливково-зеленого цвета, все, как на подбор, маленькие и сухие, но точно сделанные из стали, выпили лишнее, начали шуметь, перессорились и уже готовились пустить в ход кривые тонкие ножи. Все они орали одновременно на каком-то диком гортанном языке, похожем то на клекот хищных птиц, то на свиное хрюканье, страшно выкатывая желтые белки и скаля друг на друга матово-черные зубы. И вот Аллегрия (что значит по-испански – «веселость») накидывает на себя яркую мантилью с бахромой, вытаскивает из волос розу, берет ее в зубы, подбоченивается и вызывающей походкой, раскачивая толстыми бедрами, с головой, гордо закинутой вверх, подходит к столу скандалистов. Интересно было глядеть на нее в эту минуту. Вся она точно преобразилась, помолодела и внезапно похорошела. Гневные карие глаза, ноздри, раздутые, как у арабской кобылы, красная роза в красных губах... Коротким повелительным движением, вытянув перед собой руку, она указала на дверь и с удивительным выражением высокомерного презрения, сквозь стиснутые зубы произнесла:

– Сорте!³

Ах! Что дала бы Сара Бернар за такой жест и за такую интонацию!

² Спроси у отца (*неаполит. диалект*).

³ Прочь! (от *фр.* sortez)

Матросы так и остановились среди перебранки, забыв даже закрыть рты, и один за другим, гуськом, вышли осторожно из ресторана на согнутых ногах на цыпочках, скрипя тяжелыми морскими башмаками. Этот водевильный уход, в связи с величественной позой Аллегии, был полон дикого комизма. Я захохотал так невольно, так свободно, как смеялся только в детстве на клоунских пантомимах.

И тут же я почувствовал, что спинка моего стула слегка трясется. Я взглянул вверх и сейчас же встал, чтобы дать место даме. И вот тут-то... нет, не бойся, я не слезлив... тут-то я с восторгом понял, что милостливая судьба или добрый бог послали мне величайшее счастье в мире. Почувствовал сердцем, но умом еще не понял.

Красива ли была она? Этого я не сумею сказать. Она была прекрасна. Если бы я был беллетристом – черт бы их всех побрал, – я бы смог ее описать: губы коралловые, зубы жемчужные, глаза как черные бриллианты или бархат, роскошное тело и так далее, и так далее, и так далее.

Она еще продолжала смеяться. Она сняла перчатки и бросила их на мой стол. Она аплодировала шутя хозяйке, и Аллегория ответила ей серьезным поклоном. Хороша ли она была? И опять я скажу – не знаю. Знаю только, что о ней одной я мечтал с самых ранних, с самых мальчишеских дней. Мне показалось, что я знаю ее очень давно, лет двадцать, и как будто бы она была всегда моей женой или сестрой, и если я любил других женщин, то лишь – в поисках за ней.

Опять наши глаза сошлись в улыбке. Я думаю, что ничто так не соединяет людей, как улыбка. И не с улыбки ли начинается каждая истинная любовь?

Она села рядом со мной. На ней было черное шелковое платье, с черными кружевами. Она не была ни надушена, ни напудрена. Ее тело благоухало молодостью и свежестью.

Она спросила:

– Что вы себе заказали? Мне лень выбирать по прейскуранту.

Я ответил:

– Устрицы, рыбу соль, швейцарский сыр и бананы.

– Закажите то же и мне. А вино будет мое. Согласны?

И, не дожидаясь моего ответа, она постучала перстнем по мрамору и позвала гарсона.

Анри принес во льду бутылку шампанского вина, и когда я увидел марку «Мумм Кордон Руж», то немного испугался: если эта женщина так широко распоряжается, то во сколько же десятков франков она мне сегодня обойдется? Хватит ли? Говорю тебе, – в этот день я был дурак, а главное – так и остался дураком во все последующие дни. Я пробовал было сделать моему другу Анри строгие глаза, но напрасно, это уже был не мой Анри, а ее слуга и раб.

Да она почти и не пила. Ей дали маленькую серебряную ложку. Она взболтала вино, и когда оно выпенилось, только чуть-чуть пригубила. Ела она с удовольствием и очень красиво. А я сидел и думал: кто же она, эта женщина? Актриса? Международная шпионка? Очень дорогая кокотка? Развратная искательница приключений? Или может быть... она работает на процентах в этом кабачке? Не аргентинка ли она?

Анри принес закрытый счет, но подал его не мне, а ей. И опять не помогли мои гневные глаза. А она, небрежно взглянув на счет, только кивнула слегка головой. Тогда я рассердился, да и какой бы мужчина не рассердился бы на моем месте? Рассердился и обнаглел.

И спросил грубо:

– А кофе мы будем пить у меня наверху? Не так ли? Анри, принесите нам наверх кофе и ликеры.

Ах, аллах Акбар! Если бы мне еще раз в жизни услышать веселый стук ее каблучков, когда она быстро всходила на мой седьмой этаж! Если бы еще раз поглядеть, как она сама заботливо ухаживала за патентованным кофейным самокипом, как ласково она мне разрешила: «Курите, если хотите!» И не я, а она удлинила наш поцелуй. И она же первая отвела деликатно мои руки...

– Потом, – сказала она.

Глава II

Дурные мысли

– Я прошу вас сесть, – сказала она, – и выслушать меня спокойно. Я хочу, чтобы вы поняли меня.

Она опустилась на диван, так близко ко мне, что наши плечи часто соприкасались, и я чувствовал порою лучистую теплоту и упругость ее тела. Сначала я думал: «Ну, к чему эти объяснения, после внезапного и фамилиарного знакомства? Ведь она не девочка, ведь ей лет тридцать, тридцать пять, – и, конечно, не девушка. Она, несомненно, знает, что ходят женщины к холостым мужчинам вовсе не для того, чтобы посмотреть редкие японские гравюры или, прихлебывая ликеры, развлечься дружеским разговором о спорте и последних премьерах. А особенно ночью».

Не сделал ли я с самого начала грубейшую ошибку против старой тактики любви? Ведь давно-давно сказано, что самые сладкие поцелуи вовсе не те, которые выпрашиваются или позволяют, а те, которые отымаются насильно; что каждая женщина, даже вполне нравственная, вовсе не прочь от того, чтобы ее стыдливость была преодолена пылким нетерпением, и, наконец, что параграф первой любовной войны гласит: потерянный удобный момент может очень долго, а то и никогда не повториться. И так далее... Вспомнился еще мне мимоходом немного рискованный анекдот из жизни веселой и прелестной графини де Вальвер, рассказанный ею самую, уже в ее преклонных годах.

На ее карету напали в Сенарском лесу разбойники. Предводитель банды, кстати, молодой, очень красивый и вежливый человек, не удовольствовался тем, что отобрал у графини все ее деньги и драгоценности, которые она отдала без сопротивления, но, – о, ужас! – очарованный ее цветущей красотой и невзирая на ее мольбы и крики, злодей отнял у нее то сокровище, которым женщина дорожит более всего на свете.

– Представьте, дамы и господа, – говорила де Вальвер, – вы можете мне не верить, но был один момент, когда я, вся в слезах, не могла не воскликнуть: «Oh, mon voleur, oh, mon charmant voleur!»⁴

Да, мой милый, такие анекдоты и дешевые афоризмы очень в ходу между нами, мужчинами, и не оттого ли мы так часто выходим из любовных битв мокрыми петухами и меланхолическими осликами? Уж лучше верить мудрому Соломону, который из своего обширнейшего любовного опыта вывел одно размышление: никто не постигнет пути мужчины к сердцу женщины. И надо тебе сказать правду: после нескольких слов моей странной незнакомки я почувствовал себя со стыдом весьма маленьким, весьма обыденным и весьма пошленьким человеком.

– Я не скрою, – говорила она ласково, – я видела вас раньше, и даже не один раз. Видела сначала на вашем цементном заводе. Я туда заехала за директором, но не выходила из автомобиля.

Меня очень приятно поразило, как вы разговаривали с патроном: руки в карманах рабочей блузы, короткие уверенные жесты, холодная вежливость, ни малейшего вида услужливости. Такую независимость у подчиненного можно увидеть только у англичанина да, пожалуй, у американцев. У французов – реже. Я подумала было сначала, что вы англичанин, но потом решила: нет, не похоже.

⁴ О, мой вор, о, мой очаровательный вор! (фр.)

Когда мы с директором ехали в Марсель, то он в разговоре как-то сказал, что у него на заводе много русских и что он ими очень доволен. Работают не только руками, но и головой. Им не только не жаль, говорил он, повышать плату, но даже выгодно.

Тут я и поняла, почему ошиблась, приняв вас за англичанина. В вас очень много этого русского... как бы сказать, этого *quelque chose de* «Michica»⁵.

Я удивился:

– Много чего?

– De «Michica», чего-то медвежьего. Пожалуйста, простите, я не хотела сказать ничего обидного. Это скорее комплимент. Я очень люблю всех животных и, как только есть возможность, хожу в зоологические сады, в зверинцы, в цирки, чтобы полюбоваться на больших зверей и на их прекрасные движения. Но медведей я обожаю! Напрасно на них клеветают, говоря, что они неуклюжи. Нет, несмотря на свою ужасную силу, они необыкновенно ловки и быстры, а в их позах есть какая-то необъяснимая тяжелая грация. Один раз, не помню где, я увидела в клетке необычайно большого бурого медведя. У него шерсть на шее была бела, точно белое ожерелье, а на клетке написано: «Мишика. Сибирский медведь». Сторож мне сказал, что этот медведь был подарен французскому полку русскими солдатами, которые после армистиса возвращались домой, в Сибирскую Лапландию. И с тех пор я уже не могу мысленно называть русских иначе, как «Мишика».

Я не мог не засмеяться. Она вопросительно поглядела на меня.

– Очень странное совпадение, – сказал я. – Мишика – это и мое имя, данное мне при крещении.

И я объяснил ей, как имя Михаил у нас превращается в Мишу и Мишку и как, неизвестно почему, наш народ зовет повсюду медведя Мишкой.

– Как странно! – сказала она и замолчала на несколько минут, пристально глядя на абжур висячей лампы. Потом, точно насильно оторвав глаза от огня, она спросила:

– Вы суеверны?

Я признался, что да.

– Как странно, – повторила она задумчиво, – как странно... Неужели это фатум? – И крепко приложила теплую маленькую ладонь к моим губам. И когда она потом говорила – то постоянно: или нежно гладила мои щеки, или, отделивши вихор на моей голове, навивала колечками волосы на свои пальцы и распускала, или клала руку на мое колено. Мы были вдвоем, мои губы еще помнили ее недавний неторопливый поцелуй, но предприимчивость кентавра уже покинула меня.

Она продолжала:

– Я люблю русских. В них бродит молодая раса, которая еще долго не выльется в скучные общие формы. Я ценю их мужество, твердость и ясность, с какой они несут свои несчастья. Мне нравится, как они поют, танцуют и говорят. Их живопись изумительна. Русской литературы я не знаю... Пробовала читать, чувствую какую-то большую внутреннюю силу, но не понимаю... не умею понять. Скучно...

– В другой раз я видела вас в соборе Notre Dame de la Garde, вы ставили свечку Мадонне. В следующий раз я видела, как вы с вашими друзьями – вас было трое – наняли лодку у старого кривоглазого Онезима и поплыли на остров Иф. Скажу вам без лести, вы отлично гребете. И последний раз – сегодня. Признаюсь, я была немного экстравагантна, и вас это немного покорило. Не правда ли? Но уверяю вас, я не всегда бываю такая. Вы не поверите, я иногда очень застенчива, а застенчивые люди склонны делать глупости. Мне давно хотелось познакомиться с вами. Мне казалось, что в вас я найду доброго друга.

– Друга! – вздохнул я меланхолично.

⁵ Нечто от «мишики» (фр.).

– Может быть, и больше. Я ничего не знаю наперед. Не придете ли вы завтра в полдень в этот же ресторан? Предупреждаю, я вам скажу или очень, очень много, или ничего не скажу. Во всяком случае, завтра в двенадцать. Согласны?

– Благодарю вас. Я здесь ночую. Может быть, проводить вас?

– Да, только до улицы. Внизу меня ждет автомобиль.

Я светил ей, спускаясь по крутой лестнице. На последней ступеньке я не выдержал и поцеловал ее в затылок. Она нервно вздрогнула, но промолчала. Удивительно: ее кожа нежно благоухала резедой, так же, как ею пахнет море после прибоя и шейка девочки до десяти лет. Мальчишки – те пахнут воробьем.

«Monsieur Michica et madame Reseda», – подумал я в темноте по-французски и улыбнулся.

Глава III Суперкарго

Вообрази себе большую бетонную комнату, в зеленоватом тусклом освещении. В ней нет ничего, кроме деревянного, некрашеного стола, на котором аккуратными рядами разложены штук тридцать-сорок голландских печных кафелей, ну, вот тех самых изразцов с незатейливым синим рисунком, которые нам так были любы на наших «голанках». И на каждой из этих плиток мне приказано кем-то раскладывать правильными линиями, в строгом порядке, старые почтовые марки разных цветов, годов и стран, каждую – по своей категории. Но огромная бельевая корзина, стоящая на полу, подле меня, переполнена марками свыше верха. Когда, черт возьми, окончу я эту идиотскую работу? Глаза мои устали и плохо видят; руки тяжелы, неловки и не хотят меня слушаться; марки прилипают к пальцам и разлетаются во все стороны от моего дыхания.

Но не это самое главное. Самое важное в том, что окончания моей работы ждет нетерпеливо какая-то знакомая, но забытая мною, непонятная женщина. Она невидима, но угадывается мною. Она – вроде колеблющейся неясной фигуры духа на спиритических сеансах или туманного бледного образа, как рисуют привидения на картинах, и в то же время я знаю, что она телесная, живая и теплая, и чем скорее я разложу по местам марки, тем скорее увижу ее в настоящем виде. Надо только спешить, спешить, спешить...

Я просыпаюсь от спешки. Ночь. Тьма. Далеко в порту тонко, длинно и печально свистит катер или паровозик. Я никак не разберусь, где левая, где правая сторона кровати, и долго шарю руками в черной пустоте, пока не натыкаюсь на холодную стену. Дыхание у меня коротко, сердце томится. Нахожу кнопку и надавливаю ее. Свет быстро разливается по комнате. Смотрю на часы: какая рань. Два без десяти.

И опять засыпаю. И опять гладкие, зеленоватые бетонные стены, опять белые сине-узорчатые изразцы, опять капризные, проклятые марки... опять загадочный, видимый и невидимый образ женщины, и опять просыпаюсь с томлением в сердце. Курю, пью воду, гляжу на часы, укладываюсь на другой бок и опять засыпаю и вижу тот же самый сон, и снова и снова... Мучение. Я знаю давно, что эти надоедливые, какие-то многостворчатые составные выдвигаемые сны снятся после больших душевных потрясений или накануне их.

Последний раз я проснулся оттого, что моя постель внезапно затряслась от мелких содроганий. Ревел в порту огромный океанский пароход. Ревел поразительно низко, густо и мощно, точно под моей комнатой, а на черном фоне этого апокалипсического рева вышивал золотые спирали своей утренней песни ничем непобедимый петух. Из узких прямых прорезей в окнах струился параллельными линиями голубоватый свет утра.

Ночные сонные образы еще бродили неуловимо в полутемной комнате: бетонная комната, изразцы, марки, нелепый труд, отяжеление сердца... Сны ведь долго не покидают нас; их вкус, их тон иногда слышатся на целый день. Но они таяли, таяли, а когда я распахнул настежь ставни, то исчез и их отдаленный отзвук.

Было семь часов. Можно было бы разбудить Анри, но я предпочел спуститься вниз. Ресторан был еще заперт, а выход из отеля был на внутреннем крючке. Я вышел на улицу, прошел налево и в маленьком кабачке угольщиком выпил кофе с ромом. Потом вернулся домой и, не раздеваясь, крепко заснул – без снов.

Точно в десять часов, как и было условлено, ко мне вошел Анри с кофеем, молоком и круассанами. Обменялись добрым днем. Я льстил Анри. Я его назвал и моим стариком, и моим добрым другом. (Ведь мы были давно знакомы.)

Я его спросил:

– Скажите, Анри, кто была эта вчерашняя дама?

Он сделал глупое лицо – скосил глаза и слегка разинул рот.

– Дама, мсье? Какая дама?

У этого бандита был совершенно невинный вид.

Я рассердился.

– Черт бы вас побрал, мой очень дорогой Анри! Да та самая дама, которая со мною сидела вчера, рядом, в ресторане, внизу.

– Увы, я не помню, мсье. Как хотите, не помню.

– Ну, та самая, которая потребовала шампанское «Мумм».

– Извините меня, мсье, уверяю вас, что не помню.

– Ах, черт! Наконец, та самая, которая уплатила весь счет, хотя я и показывал вам знаками, что вы меня ставите в самое идиотское положение. Не стройте же дурака, мой старый Анри, прошу вас.

Но Анри был холоден, непроницаем и равнодушен.

– Что вы хотите от меня, дорогой господин? У нас в ресторане бывают ежедневно сотни мужчин и дам. Трудно всех упомянуть. Добрый день, мсье.

– Нет, нет, постойте. Та самая дама, для которой вы подавали сюда, вот в эту комнату, ликеры.

– О, мсье, вы сегодня проснулись в дурном расположении духа... Простите, что я покидаю вас. Мне еще надо обслужить двадцать комнат. Добрый день, мсье.

И он исчез. Такой злодей!

Кому неизвестен странный каприз времени: когда торопишься, когда каждый миг дорог, то часы летят, как минуты. Но когда ждешь или тоскуешь – минуты растягиваются в часы. Я не знал, куда девать эти два часа. Зашел побриться, купил цветов – гвоздики и фиалок, – купил засахаренных каштанов, и еще много у меня оставалось досуга, чтобы побродить по набережной. После вчерашнего дождя и шторма был ясный солнечный день, тихий и теплый, и вся Марсель казалась заново вымытой. Я с удовольствием, расширенными ноздрями втягивал в себя крепкие запахи большого морского порта. Пахло йодом, озоном, рыбой, водорослями, арбузом, мокрыми свежими досками, смолой и чуть-чуть резедою. В груди моей вдруг задрожало предчувствие великого блаженства и тотчас же ушло.

Ровно в двенадцать часов я спустился в ресторан. Моя знакомая незнакомка была уже там и сидела на том же месте, что и вчера вечером. На ней было темно-красное пальто и такая же шляпка, на плечах широкий палантин из какого-то зверька, порыжее соболя, но такого же блестящего. О, боже мой, как она была прекрасна в этот день, я не могу, не умею этого рассказать.

Она была не одна. Против нее сидел молодой моряк. О профессии его легко можно было догадаться по золотым якорям, по золотому канту на рукавах и еще по каким-то золотым эмблемам... Я не знаю, как у других, но у меня всегда, с первой минуты знакомства с человеком, укрепляется в памяти, кроме его разных имен и званий, еще какое-то летучее прозвище, моего собственного мгновенного изобретения. Оно-то и остается всего прочнее в памяти. Этого молодого моряка я мысленно назвал «Суперкарго». Откровенно говоря, я не знаю, что это за морской чин. Знаю только, что гораздо ниже шкипера, но немного выше матроса. Что-то около боцмана... Так он и запал у меня в память с этим титулом.

Заметил я также, что он очень красив. Но все это только по первому быстрому поверхностному взгляду. Несколько минут спустя я убедился, что он не только очень, но исключительно, поразительно, необычайно хорош собою. Не скажу – прекрасен. Прекрасное – это изнутри. Иногда вот бывает дурнушка, совсем не видная и плохо сложенная, с веснушками около носа. Но как поднимет вдруг ресницы, как покажет на мгновение золотое и ласковое сияние глаз, то сразу чувствуешь, что перед этой прелестью померкнет любая патентованная красавица. Видел я также лицо одного морского капитана во время тайфуна в Китайском море.

В обычной жизни был он уж очень неказист, такая распрорусская лупетка, и нос картофелем. Но во время урагана, когда вокруг рев, грохот, крики, стоны, ужас, близкое дыхание смерти... когда он держал в своих руках жизнь и волю сотен человек – что за прекрасное, что за вдохновенное было у него лицо!

Но в сторону беллетристику. Скажу просто, что этот суперкарго был красив совершенной итальянской, вернее даже, римской красотой. Круглая римская голова, античный профиль, великолепного рисунка рот. Его волнистые бронзовые волосы выгорели и пожелтели на концах. Лицо так сильно загорело, что стало, как у мулата, кофейным. И большие блестящие голубые глаза. Ах, знаешь, никогда мне не нравилось, если на смуглом фоне лица – светло-голубые глаза; в этой комбинации какая-то жесткость и внутренняя пустота. Ну, вот, как хочешь, не верю и не верю я таким лицам.

Я наклонился, целуя, по русскому, довольно-таки нелепому обычаю, руку у дамы и тотчас же, не глядя, почувствовал на своей спине враждебный взгляд моряка.

Она сказала:

– Познакомьтесь, господа.

Стоя, я уже готовился протянуть руку, но сразу сдержался. Суперкарго, не вставая, тянул руку как-то боком ко мне, что, конечно, можно было принять за невежество или небрежность. Я кивнул головой и сел.

Разговор за столом еле-еле вязался. Говорили о погоде, о Марсели, о кораблях. Я заказал себе вермут с касиссом. Дама спросила тот же аперитив. Суперкарго вдруг повернулся ко мне.

– Вы, кажется, иностранец, мсье, если я не ошибаюсь, – сказал он и слегка прищурил голубые глаза.

Я ответил сухо:

– Мне кажется, что мы все здесь в Марсели иностранцы?

– А не могу ли я спросить, какой нации мсье?

Тон его был нагл. Жестокость взгляда и очень плохое французское произношение усиливали мою антипатию к нему. Во мне закипало раздражение, и в то же время я чувствовал себя очень неловко. Ох, не терплю я таких трио, когда около хорошенькой женщины двое мужчин оскалывают друг на друга клыки и готовы зарычать, как ревнивые кобели, простите за грубое сравнение.

Но я еще не терял самообладания.

Я ответил, по возможности, спокойно:

– Я русский.

Он искусственно засмеялся.

– А-а. Русский...

– Я из великой России, где образованные люди знали, что такое обыкновенная вежливость.

Он сказал с деланой балаганной надменностью:

– И вы, вероятно, дали бы мне маленький урок этой вежливости, если бы у вас хватило на это смелости? Вы, русские, известные храбрецы. Вы это блестяще доказали, бросив во время войны своих союзников.

Тут я должен, кстати, сказать об одном моем свойстве, вернее, об одном органическом пороке. По отцу я, видишь ли, добрый и спокойный русопет, вроде ярославского телка, но по материнской линии я из татар, в жилах которых текут капли крови Тамерлана, хромого Таймура, и первый признак этой голубой крови – неистовая, бешеная вспыльчивость, от которой в ранней молодости, пока не обуздал себя, я много и жестоко пострадал. И вот, глядя теперь в упор на итальянца, я уже чувствовал, как в голову мне входит давно знакомый розовый газ – веселый и страшный.

Я быстро встал. Встал и он момент в момент со мною вместе, точно два солдата по команде.

У меня уже были готовы, уже дрожали на губах те злые, несправедливые слова, после которых мужчины стреляют друг в друга или, схватившись, яростно катаются по полу. Я хотел ему напомнить об известной всему миру резвости итальянских ног во всех войнах при отступлении, у меня был также наготове Негус Абиссинский, его голые дикари, вооруженные дротиками, и паническое бегство храбрых, нарядных берсальеров.

Я увидел, как его рука быстро скользнула за пазуху, но в тот момент не придал этому жесту никакого значения. Розовый газ в моей голове густел и делался красным.

– Siede (сядь)! – раздался вдруг повелительный женский голос. Это крикнула моя незнакомка, и суперкарго моментально опустился на стул. В этой стремительной послушности было, пожалуй, что-то комическое. Ведь во всяком итальянце живет немного от Пульчинелло. Но рассмеялся я лишь полчаса спустя.

Я пришел в себя и провел рукой по лбу. Меня немного качнуло в сторону.

Я сказал, стараясь взять беззаботный тон:

– Впрочем, мне кажется, что мы совсем напрасно завели при даме политический и национальный диспут. Ведь это такая скучная материя...

И прибавил, обращаясь к суперкарго:

– Но если угодно будет продлить наш интересный разговор, я к вашим услугам. Я остановился здесь же, в отеле, номер семнадцать. Всегда буду рад вас увидеть.

Суперкарго хотел было что-то ответить, но она одним легким движением руки заставила его замолчать. Я низко поклонился даме. Она сказала спокойно:

– Прошу вас, не уходите из своей комнаты. Через десять минут я приду к вам.

Поднимаясь по лестнице, я вдруг вспомнил быстрый, коварный жест итальянца и понял, что он полез за ножом. Мне стало немножко жутко.

«Ведь, пожалуй, мог бы, подлец, распороть мне живот».

Глава IV Мишика

Признаюсь, нелегко у меня было на сердце, когда я ходил взад и вперед по моей отдельной комнате, похожей на просторную низкую каюту. Волнение, вызванное внезапной ссорой с итальянским моряком, еще не улеглось во мне.

Зачем она познакомила нас? Что у нее общего с этим смуглым и голубоглазым Антиномем? Чем объяснить его дерзкую придирчивость? Неужели ревностью? Как мне теперь держать себя с моей прекрасной дамой? Вчера она обещала сказать мне много-много или ничего... Что она скажет?

Я попал в какой-то запутанный ребус. Но – говорю правду – ни одна косая, ни одна враждебная мысль не возникала во мне по поводу моей странной незнакомки. Я вызвал в памяти ее прелестное лицо, ее милый голос, ее руки и чувствовал, что верю ей непоколебимо.

В дверь громко постучали тройным ударом. Я крикнул «*entrez*»⁶ и поднялся навстречу.

В комнату вошел суперкарго. Теперь, когда он был на ногах, я увидел стройность и крепость его сложения и быстро подумал: неужели опять ссора? Розовый воинственный газ уже испарился из моей головы. Новое буйное опьянение гневом мне представлялось скучным и противным.

Он шел ко мне с открытой протянутой рукой, с ясными и смелыми глазами.

– Простите меня, – сказал он просто. – Я был виноват, затеяв этот глупый разговор, и я недостойно держал себя.

Мы пожали друг другу руки. Он продолжал спокойным, но внутренне дрожавшим голосом:

– Вся беда в том, что я увидел, как вы поцеловали ее руку. Я забыл, что у вас на севере это – самый простой обычай. У нас же, на юге, целуют руку только очень близкой женщине: матери, жене, сестре. Я не знал, как объяснить ваш жест: фамильярностью, дерзостью или... или... еще чем-нибудь. Но я уже принес вам извинение. Позвольте мне выпить воды.

На моем ночном столике не было стакана. Он взял графин и стал пить из горлышка с такой жадностью, что я слышал его глотки и я видел, как дрожала его рука.

Напившись, он вытер рот ладонью и сказал с суровой торжественностью:

– Да хранит синьору Пресвятая Ностра Дама делля Гварда Марсельская и все святые.

Я не мог удержаться от вопроса:

– Вы говорите так, как будто «синьора» близка вам?

Он отрицательно замотал указательным пальцем перед носом.

– Нет, нет, нет, нет. Можно ли быть близким солнцу? Но кто мне может запретить обожать синьору? Если бы ей предстояло уколоть свой маленький палец иголкой, то я, чтобы предотвратить это, отдал бы всю мою кровь... Прощайте же, синьор. Я думаю, вам не трудно будет передать синьоре, что мы расстались друзьями.

Еще раз мы протянули друг другу руки. Пожатие его мозолистой ладони до боли сдавило и склеило мои пальцы.

Я внимательно взглянул на него и поразился тому, как чудесно изменились его глаза. В них уже не было прежней неприятной жестокости: они посинели и смягчились; они блестели теми слезами, которые выступают, не проливаясь. Отвратительно видеть плачущего мужчину, но когда у сильного и гордого человека стоят в покрасневших глазах эти теплые слезы, которые

⁶ Войдите (*фр.*).

он сам каким-то усилием воли заставит высохнуть, то, право, лицо его на мгновение становится прекрасным.

– Баста! – сказал моряк, бросая мою руку. – Да хранит Бог синьору: она лучше всех на свете. Я уже никогда больше не увижу ни ее, ни вас.

– Почему вы так говорите? Мир не особенно велик. Может быть, встретимся.

– Нет, – сказал он с покорным вздохом, – я уверен: раньше, чем кончится этот год, – я утону в море. Гитана в Кадиксе предсказала мне два события, которые произойдут почти рядом. Одно случилось сегодня. Прощайте, синьор.

Он простился и вышел, не оглянувшись. Мне слышно было, как он сбегал по каменной лестнице с той быстротой, с какой только молодые моряки умеют спускаться по трапам.

Я ждал ее. И слышал биение своего сердца. Кто из нас не волновался перед свиданием, на котором нам обещано много-много? Но теперь было совсем другое. Я чувствовал, что за дверью молчаливо стоит моя судьба и вот-вот готова войти ко мне. Я испытывал ту странную усталость, ту ленивую робкую вялость, которые, как отдаленное пророчество, говорят нам о близости великого жизненного перелома. Я думаю, что такое духовное краткое изнеможение должны переживать монархи перед коронацией и приговоренные к смерти в ожидании палача.

Издали-издали, снизу, до меня донесся быстрый, легкий, четкий стук ее каблучков. Я поспешил спуститься и встретился с ней на площадке. Она обеими руками обняла мою шею. Прикасаясь губами к моим губам, она жарко шептала:

– Мишика, мой милый Мишика, я люблю тебя, Мишика. Мы свободны, о мой Мишика, о мой милый Мишика!

Так мы останавливались на каждой площадке. А когда мы пришли в мою комнату, она нежно взяла меня ладонями за виски, приблизила мое лицо к своему и, глядя мне глубоко в глаза, сказала со страстной серьезностью:

– Я твоя, Мишика... В счастья и в несчастья, в здоровье и в болезни, в удаче и неудаче. Я твоя до тех пор, пока ты хочешь, о мой возлюбленный Мишика!

Потом вдруг встряхнула головой и сказала:

– Я велела завтрак принести к тебе, наверх. Будем одни, не так ли, Мишика?

Глава V

Мария

В это воскресенье я совсем позабыл о моих заводских друзьях, которые, по уговору, дожидались меня в старом порту, против старого ресторана Бассо, знаменитого на весь мир своим огненным буйабезом. Забыл я также и о самом заводе: не поехал туда ни в понедельник, ни во вторник, взял по телеграфу отпуск. Эти дни навсегда, неизгладимо врезались в моей памяти. Я помню каждое слово, каждую улыбку; теперь это – моя тайная шкатулка с сокровищами...

Не знаю, может быть, было бы и некстати, что я заговорил о суперкарго, но мне это казалось каким-то неизбежным долгом. Я рассказал ей о нашем искреннем примирении, о его красивом мужестве, о его благоговении перед ней и о том, как он благословлял ее имя. Когда я упомянул о его предчувствии близкой смерти, мне показалось, что она побледнела. Немного помолчав, она сказала:

– Надо, чтобы ты знал все. Почти год назад я его любила. И он любил меня. Нам пришлось надолго расстаться. Он должен был идти в кругосветное путешествие. Мы не давали друг другу клятв во взаимной вечной верности. Такие клятвы – смешной и обидный вздор. Я сказала только, что буду ждать его возвращения и до этого срока не полюблю никого. Первое время я, правда, немного тосковала. Но не умею сказать почему – время ли постепенно заглушало мои чувства, или любовь моя к нему была не очень глубока – образ его скоро стал как-то стусевываться в моем воображении, расплываться, исчезать. Наконец, я позабыла его лицо. Я старалась воскресить в памяти наши счастливые часы и минуты... и не могла. Я поняла, что не люблю его больше. Он знал меня. Он верил мне. Он знал, что никакая сила не заставила бы меня изменить ему в его отсутствие.

Я тебе должна признаться – хотя это мне немножко и стыдно, – что когда я увидела тебя в первый раз, то мгновенно почувствовала, что ты будешь моей радостью и я буду твоей радостью. Нет, нет, я себя не воображала какой-то победительницей, хищницей, соблазнительницей, но я ясно почувствовала, что очень скоро наши сердца забьются в один такт, близко-близко друг к другу. Ах! эти первые, быстрые, как искра в темноте, летучие предчувствия! Они вернее, чем годы знакомства.

Мне трудно было удерживать себя, и я сделала несколько маленьких глупостей вчера.

Ты простил меня. Но все-таки я не изменила. В любви, даже в прошлой, нет места лжи.

Я ему сказала, что люблю тебя. Он сразу покорился судьбе. Это не я заставила его подняться к тебе. Он сам понял свою вину. Он принял тебя за обыкновенного нагловатого искателя приключений, и когда ты поцеловал мою руку – это показалось Джиованни вызовом ему и неуважением ко мне...

Легкая, почти неуловимая вуаль печали скользнула по ее лицу и прошла. Она сказала:

– Довольно о нем! Не правда ли? Его нет между нами.

Я согласился. Да. Но горька и тяжела мне была эта странная минута, когда вся Марсель, глубоко погруженная в темноту ночи, беззвучно спала. Я невольно снова вспомнил моего предшественника таким, каким я его видел у меня, при прощании, и невольно подумал о себе. Я себя увидел грузным, с ленивой перевалкой, серые глаза широко расставлены в стороны, курчавые соломенные волосы, бычий лоб... И на сколько лет он был моложе меня!..

А на рассвете, в косых золотых лучах утреннего солнца, она, после бессонной ночи, вдруг так похорошела, так порозовела и посвежела, ну вот как будто бы она в это утро каталась на коньках и пришла домой, вся благоухающая снегом и здоровьем.

Она сидела перед зеркалом, прибирала свои бронзовые волосы и говорила не со мной, а с моим отражением в зеркале и улыбалась радостно то себе, то мне.

– Давать в любви обещания и клятвы... разве это не грех перед Богом, разве это не тяжкое оскорбление любви? Хуже этого, пожалуй, только ревность. Недаром в Швеции ее называют черной болезнью. Ты ревнуешь, значит, ты не веришь моей любви и, значит, хочешь любить меня насильно, против моей воли и против моего желания. Нет, уже лучше сразу конец. Обида – плохая помощница любви.

Или, например: вот прошло некоторое время, и скучны тебе стали, приелись мои ласки. Вместо праздника любви наступили утомительные, мутные будни. Скажи мне прямо и просто, как другу: прощай. Поцелуемся в последний раз и разойдемся. Что за ужас, когда один не любит, а другой вымалчивает любовь, как назойливый нищий!

Ну, вот и все, Мишика, что я хотела сказать. Пусть это будет наш брачный контракт, или, если хочешь, наша конституция, или еще: первая глава в катехизисе любви.

Она подошла ко мне, обняла меня, прильнула губами к моим губам и стала говорить шепотом, и слова ее были как быстрые поцелуи:

– Под этим договором подписываюсь я, Мария: и вот эти руки, эти глаза, эти губы, и все, что есть у меня в сердце и в душе, принадлежит тебе, Мишика, пока мы любим друг друга.

И я ответил также шепотом:

– Этот договор подписываю и я, твой собственный покорный Мишика.

Глава VI «Колья»

– Знаешь ли что, мой дружок? Этот самовлюбленный карачаевский барашек мне совсем надоел своей бестолковостью. Давай-ка перекочем отсюда? Тут недалеко, за углом, я знаю один укромный кабачок, где дают превосходный кофе и настоящий английский ямайский ром. *Garçon, addition!*⁷ Не стоит благодарности, Нарцисс Тулузский. *Voir!*⁸

* * *

– Я был дружен с этой женщиной год и четыре месяца. Заметь, я говорю – дружен, потому что не могу сказать – близок: в свою душу она меня не пустила и почти никогда не пускала. Не смею также сказать, что жил с нею. Она испытывала брезгливый ужас при одной мысли о том, что два свободных человека – мужчина и женщина – могут жить в течение многих лет совместно, каждые сутки, с утра до вечера и с вечера до утра, делясь едою и питьем, ванной и спальней, мыслями, снами, и вкусами, и отдыхом, развлечениями, деньгами и горестями, газетами, книгами и письмами, и так далее, вплоть до ночных туфель, зубной щетки и носового платка... Брр!.. И эта тесная жизнь длится до тех пор, пока оба не потеряют окончательно всю прелесть и оригинальность своей личности, пока любовь, в которой ежедневная привычка погасила стремительные восторги, не станет регулярной необходимостью или чуть-чуть приятным удовольствием, которое, впрочем, так легко заменимо ложей в опере или интересным сеансом в синема.

Я передаю не ее слова, а только смысл ее слов. Ее речь бывала всегда мягка и осторожна.

Однажды я спросил ее:

– А как же быть, если... дети?

Она глубоко, глубоко вздохнула. Потом, помолчав немного, сказала печальным голосом:

– Вот именно, этого я и не знаю. Я никогда бы не осмелилась противиться законам природы. Но Богу, должно быть, неужгодно послать мне такое счастье. Я не могу себе представить, что бы я думала, чувствовала и делала, ставши матерью. Но, прости меня, мне немножко тяжело говорить об этом...

Да, должен сказать, что я в первое время задавал ей слишком много ненужных и, пожалуй, бестактных вопросов. Надо сознаться: мы, русские интеллигенты, всегда злоупотребляем свободой делать пустые и неуклюжие вопросы как старым друзьям, так и встречным пассажирам: «Откуда идете? Куда? А что это на глазу у вас? Никак, ячмень?»

– Ну да, ячмень, черт бы тебя побрал, но вовсе не ячмень мне досаждал, а то, что до тебя тридцать таких же идиотов предлагали мне тот же самый вопрос: «Сколько вам лет? А вашей жене? Что же вы, батенька, так похудели? А почему это ваш сын не похож ни на мать, ни на отца?»

И без конца: где? куда? зачем? почему? сколько?

Русский мужик, солдат, рабочий был куда меньше повинен в такой развязности.

Несколько недель понадобилось мне до полного утверждения мысли, что одинаково противны и дурацкий вопрос, и надоедливое изливание души. Вот тут-то, дорогой мой, и надо всегда помнить мудрое правило: не делай ближнему того, что тебе самому было бы противно.

⁷ Гарсон, счет! (*фр.*)

⁸ Здесь: вот так! (*фр.*)

Мария никогда не показывала неудовольствия или нетерпения. Иногда она точно не слышала моего вопроса, а если я повторял его, мило извинялась, иногда говорила: «Право, мой Мишика, это тебе неинтересно». Но чаще она ловко и нежно переводила разговор в другое русло.

Однажды ночью, лежа без сна в своем заводском павильоне, я, по какой-то случайной связи мыслей, вспомнил о моем давнем дружке, о Коле Констанди. Жил такой грек в Балаклаве, владелец и атаман рыбацкого баркаса «Светлана», великий пьяница и величайший рыболлов, который был в наших выходах в море моим добрым наставником и свирепым командиром. Однажды он утром на набережной возился над своим баркасом, очевидно, готовя его в долгий путь. Я спросил:

– Куда, Коля, пойдешь?

Он мне ответил сурово:

– Кирийа Мегало (что означало «господин Михайло» или – иначе – «большой господин»), никогда не спрашивайте моряка, куда он идет. Пойдет он туда, куда захотят судьба и погода. Может быть, в Одест, на Тендровскую косу, а если подымется трамонтана, то, пожалуй, унесет в Трапезунд или Анатолию, а может, и так случится, что вот, как я есть, в кожаных рыбацких сапогах, придется мне пойти на морское дно, рыб кормить.

Это был хороший урок. Но что значит упорная воля привычки? Несколько дней спустя я увидел, что Коля, разостлав на мостовой скумбрийные сети, ползает по ним, как паук по паутине, штопая порванные ячейки, и спросил его:

– Где будешь бросать сети?

Вот тут-то он и привел меня в рыбацью веру.

– Я же тебя учил, трах тарарах, что моряка, трах тах тах, никогда не спрашивают, тарарах тах тах... – и пошло и пошло рыбацье проклятие, в котором упоминаются все одушевленные, неодушевленные и даже отвлеченные предметы и понятия, за исключением компаса и Николая Угодника...

И вот в ночном свете этого далекого грубого воспоминания я вдруг глубоко почувствовал, как я был неправ, скучен и назойлив в моем насильственном питании чужой гордой души. Я спрашивал, например: изо всех тех, кто тебя любили, кого ты любила страстнее? Или: многих ли ты любила до меня? Ты еще думаешь о своем молодом моряке Дживованни? Тебе жаль его?

Ах, это русское ковыряние в своей и чужой душе! Да будет оно проклято! В эту бессонную одинокую ночь я в темноте несколько раз краснел от стыда за себя.

На другой день я рассказал ей о моем миллом грекондосе, и по тому, как весело, нежно и благодарно заискрились ее глаза, я увидел, что она поняла и приняла мое покаяние и мое обещание. С той поры я перестал быть нищим вопрошателем.

Я верно угадал, что покаянный рассказ этот дойдет до ее сердца. Она была в восторге от моего «Колья», пропитанного водкой, табаком и крепким рыбным запахом. Она заставила меня рассказать ей все, что я помнил о Коле Констанди, о Юре Паратино, о всех Капитанаки и Панаиоти, о Ватикиоти и Андруцаки, о Сашке Аргириди, о Кумбарули и прочих морских пиндосах. Она без конца готова была слушать меня, когда я говорил ей о всевозможных родах ловли, – о всех опасностях неверного рыбацкого промысла, о героических преданиях, о морских легендах и суевериях, даже о нелепых шумных кутежах после богатого улова белуги.

– Мой обожаемый медведь! – сказала она, прижавшись тесно ко мне. – Поедем туда, к твоему «Колья». Хочешь, сегодня же поедем?

А когда я объяснил ей, почему поехать в теперешнюю Россию нам совсем невозможно, она вдруг расплакалась, как девочка, горько и обильно...

У нее была удивительная способность превращать кратчайшим путем замысел в дело. Она долго и внимательно расспрашивала меня о том, какие вещи могут теперь быть самыми необходимыми для рыбака, и в тот же день был ею отправлен Коле плотный пакет максимально

дозволенного веса. Там были уложены две теплые морские фуфайки, несколько мотков английского шпагата разной толщины, малые крючки, чтобы ловить кефаль на самодуру, средние – для ловли на перемет камбалы и морского петуха – и самые большие для переметов на белугу, а так как оставалось еще немного пустого места, то его забили шоколадными плитками. Для отвода глаз посылка пошла как будто бы от американца Джонсона, которого Коля в 1910 году возил в лодке показывать окрестности Балаклавы. Девяносто девять шансов было за то, что посылка не дойдет. Мы надеялись на сотый.

Глава VII

Трактат о любви

Вижу, дружище, что я тебя совсем заговорил. Потерпи. Иду теперь широкими шагами к концу.

О, как много она мне дала и какой я перед ней неоплатный должник! Она была очень умна, во всяком случае, гораздо умнее меня. Но ее ум не стеснял, не подавлял: он был легкий, непринужден и весел, он быстро схватывал в жизни, в людях, в книгах самое главное, самое характерное и подавал его то в смешном, то в трогательном виде: злого и глупого он точно не замечал.

В любви Мария была, мне кажется, истинной избранницей. Знаешь ли, какая мысль приходит теперь мне часто в голову? Думаю я так: инстинкту размножения неизменно подчинено все живущее, растущее и движущееся в мире, от клеточки до Наполеона и Юлия Цезаря, но только человеку, этому цветку, перлу и завершению творения, ниспосылается полностью великий таинственный дар любви. Но посылается совсем не так уж часто, как это мы думаем. Случаи самой высокой, самой чистой, самой преданной любви выдуманы – увы! – талантливыми поэтами, жаждавшими такой любви, но никогда не находившими ее.

Видишь: все мы мыслим, я полагаю, непрерывно, в течение всей жизни. Но настоящих философов человечество знает не больше десяти-двадцати. Все мы сумеем нарисовать фигуру человечка: кружок, с двумя точками-глазами, и вместо ног и рук четыре палочки. Миллионы художников рисовали немного лучше, а иные и гораздо лучше, но ведь есть пределы: никто не мог добраться до Рафаэля, Леонардо да Винчи, Рембрандта. Кто из нас не умел промурлыкать легонький мотивчик или подбирать его одним пальцем на пианино? Но наши музыкальные способности совсем не сродни гению Бетховена, Моцарта или Вагнера и не имеют с ними ни одной общей душевной черты.

Иные люди от природы наделены большой физической силой. Другие рождаются с таким острым зрением, что свободно, невооруженным глазом, видят кольца Сатурна. Так и любовь. Она – высочайший и самый редкий дар неведомого Бога.

Подумай-ка. Сколько миллиардов людей с сотворения мира совокуплялись, наслаждались, оплодотворялись, размножались и занимались этим в течение миллионов лет. Но много ли раз ты слышал о большой и прекрасной любви, о любви, которая выдерживает всякие испытания, преодолевает все преграды и соблазны, торжествует над бедностью, болезнями, клеветой и долгой разлукой, о высшей любви, о которой сказано, что она сильнее смерти? И неужели ты не согласен со мною, что дар любви, как и все дары человеческие, представляет собою лестницу с бесконечным числом ступенек, ведущих от влажной, темной, жирной земли вверх, к вечному небу и еще выше?

Что? Бред, ты говоришь? Не оспариваю. Когда сидишь ночью с другом в кабачке, не грех сболтнуть лишнее. Позволь только напомнить тебе о том, что была эпоха, когда человечество вдруг содрогнулось от сознания того болота грязи, мерзости и пакости, которые засосали любовь, и сделало попытку вновь очистить и возвеличить любовь, хотя бы в лице женщины. Это средневековое рыцарство с культом преклонения перед прекрасной дамой. И как жаль, что это почти священное служение женскому началу выродилось в карикатуру, в шутотрагедию...

Но кто знает грядущие судьбы человечества? Оно столько раз падало ниже всякого животного и опять победоносно вставало в почти божеский рост. Может быть, опять придут аристократы духа, жрецы любви, ее поэты и рыцари, целомудренные ее поклонники...

Баста. Я уже говорил тебе о десяти философах. Мне все равно не быть одиннадцатым. Тем более что один из этих мудрецов очень тонко намекнул нам: «Помолчи – и будешь философом». Гарсон, бутылку белого бордо! Я хочу тебе только сказать, друг милый, что она, моя

волшебная Мария, была создана богом любви исключительно для большой, счастливой, доброй, радостной любви и создана с необыкновенно заботливым вниманием. Но судьба сделала какую-то ошибку во времени. Марии следовало бы родиться: или в золотой век человечества, или через несколько столетий после нашей автомобильной, кровавой, торопливой и болтливой эпохи.

Ее любовь была проста, невинна и свежа, как дыхание цветущего дерева. При каждой нашей новой встрече Мария любила меня так же радостно и застенчиво, как в первое свидание. У нее не было ни любимых словечек, ни привычных ласк. В одном она только оставалась постоянной: в своем неизменном изяществе, которое загушевывало и скрашивало грубые, земные детали любви.

Да. Повторяю, у нее был высший дар любви.

Но любовь крылата! Ты, может быть, заметил, дружок, что на свете есть люди, как будто нарочно приспособленные судьбою для авиации, для этого единственно прекрасного и гордого завоевания современной техники? У этих прирожденных летунов как будто птичьи профили и птичьи носы; подобно птицам, они обладают неизъяснимым инстинктом опознаваться в дороге; слух у них в обоих ушах одинаков – признак верного чувства равновесия, и они с легкостью приводят в равновесие те предметы, у которых центр тяжести выше точки опоры. Для таких людей-птиц заранее открыто воздушное пространство и вверх, и вниз, и вдаль. Смелый летчик, но не рожденный быть летчиком, запнется на первой тысяче метров и потеряет сердце.

Я расспрашивал знакомых авиаторов об их ранних молодых снах. Ведь известно, что все люди во снах летают, кроме окончательно глупых. Но оказалось, что летуны по призванию летали выше домов, к облакам. Летчики-неудачники – те только с трудом отлипали от земли, а летали как бы в продолжительном прыжке. Любовь – такое же крылатое чувство. Но, сравнивая себя в этом смысле с Марией, я сказал бы, что у нее были за плечами два белоснежных, длинных лебединых крыла, я же летал, как пингвин. Вначале я очень остро и, пожалуй, даже с обидой чувствовал ее духовное воздушное превосходство надо мною и мою собственную земную тяжесть, отчего невольно – признаюсь в этом – бывал смущен и неловок и часто сердился на самого себя. Конечно, это была простая мужская мнительность; воображение то и дело подсказывало мне разные нелестные уподобления. Она бывала иногда богиней, снизошедшей до смертного, матроной, отдающей рабу-гладиатору, принцессой, полюбившей конюха или садовника. Ах, у каждого человека в душе, где-то, в ее плохо освещенных закоулочках, бродят такие полумысли, полочувства, полуобразы, о которых стыдно говорить вслух даже другу, такие они косолапые.

Но скоро все эти угловатости сгладились: так мила, так предупредительна, так нежна, догадлива была Мария, так щедра, скромна и искренна, она была в любви так радостна, она любила жизнь, и такая естественная теплая доброта ко всему живущему исходила из нее золотыми лучами.

Да, дружок, в душе моей сохранилось много, много сладких чудесных воспоминаний, заветных кусочков нашей неповторимой жизни. Это – целая книга. Перелистывая ее страницы, я испытываю жестокое, жгучее наслаждение, точно бережу рану. Мучаюсь мыслью о невозвратности времени, и в этом моя горькая утеха, мой любовный запой. Часто жалею я о том, что у меня не осталось от Марии никакой вещи: ленточки, локона волос, сухого цветка, гребенки, перчатки, платка или хоть какой-нибудь неодушевленной пуговицы. Тогда мои воспоминания были бы еще глубже, еще мучительнее и еще слаще.

Но в ту пору я глядел на такие сувенирчики презрительным оком холодного реалиста и серьезного дельца.

Да и надо – что поделаешь, – надо признаться, что нежная и страстная, кроткая и всегда радостная любовь Марии, ее трогательная ласка, ее здоровое веселье и преданность – понемногу, день ото дня, все более притупляли то мое выдуманное самоуничижение перед моей

любовницей, которое раньше столь тяготило и связывало меня. Я уже не искал с жадностью ее ласк, я с удовольствием позволял ласкать себя. Вечная история с мужчинами, вообще склонными в любви задаваться.

Это я сам однажды понял и почувствовал в одно яркое мгновение. Весенним, теплым и ароматным вечером мы с Марией сидели в густой прекрасной аллее улицы Курс-Пьер-Пюже. Мы молчали. Голова Марии лежала у меня на плече. И вот она, обняв меня и прижавшись ко мне, сказала тихо и медленно, точно раздумывая и проверяя вслух свои мысли:

– Знаешь что, Мишика. Я чувствую теперь, что до тебя я никого не любила. Я хотела любить и искала любви, но все, что я узнала, – это была не любовь, а ошибка... может быть, невольная ложь перед самой собой. А теперь мне кажется, что я нашла и себя, и тебя, и ту вечную любовь, о которой мечтают все влюбленные, но которая из миллионов людей дается только одной паре.

Я не ответил. Я молча погладил ее волосы. Но в сердце у меня зашевелилось нехорошее чувство. Что это? Неужели покушение на мою свободу? Старая, знакомая, скучная песенка?

О, осел! Глупый, неблагодарный осел! Питайся теперь бурьяном и чертополохом и обливай колючки едкими слезами. Колесо времени не остановишь и не повернешь обратно.

Глава VIII

Мадам Дюран

Все течет во времени, и ко многому привыкаешь понемногу, незаметно для самого себя. Я уже чувствовал себя почти мужем Марии. Когда она бывала у меня в гостинице «Порт», нередко мы замечали, что наши мысли идут параллельно; часто мы произносили одновременно одно и то же слово; привычки и вкусы становились общими.

Низкую и обширную каюту свою с окнами в виде иллюминаторов я устроил совсем в корабельном стиле: повесил на стену большой барометр, спасательный круг и пробковый пояс; укрепил на подоконнике компас, а самый подоконник расчертил радиусами на тридцать два румба; к потолку подвесил полотняный гамак – корабельную койку. Марии очень понравилась эта затея. Мне тоже. Однако ее пристрастие ко всему морскому – признаюсь – наводило меня порою на печальные и ревнивые мысли, которые я всячески старался отгонять.

Я уже давно приучился не задавать ей лишних вопросов, признав наконец за этим правилом и такт, и мудрость, и взаимное доверие. Да, с презрительной усмешкой стал я думать об одном русском, довольно-таки распространенном обычае. Он и она, прежде того дня, когда на них возложат «венцы от камене честна», зачем-то обменивались дневниками или просто признаниями в прежних любовных прегрешениях, все равно, истинных или мнимых. О, каким жгучим средством оказывался этот письменный и устный материал потом, через год, чтобы колоть и хлестать им друг друга без пощады!

Я по-прежнему мало знал о Марии, но сама обыденная жизнь открывала мне изредка новые черты в ее загадочном существовании и в ее прекрасной душе – свободной, чистой, гордой и доброй, хотя я и до сих пор не понимаю: была ли эта душа пламенной или холодной?.. Эти проблески я могу сравнить с мгновенным щелканьем фотографического аппарата.

Какой я был дурак! Я обижался – и серьезно! – на Марию за то, что она никогда не соглашалась уснуть у меня, хотя «засиживалась» иногда до раннего солнца. «Мне надо отдохнуть, чтобы работать со свежей головой». Так однажды она мне сказала. А в другой раз ничего не ответила на мое предложение. Засмеялась, нежно-нежно меня поцеловала, назвала своим милым большим медведем и, распахнув дверь, быстро застучала каблучками по лестнице. Я едва успел ее догнать, чтобы посадить в автомобиль.

Помню еще одно утро, после долгой, блаженной ночи... Мне уже пора было ехать на завод, но я сказал легкомысленно:

– Душа моя, ведь нам очень хорошо вместе. Такая ночь, как эта, – эта самая – никогда не повторится; продолжим ее еще на двадцать четыре часа, прошу тебя.

– А твоя служба?

– Ну, мое присутствие не так уж крайне необходимо. Наконец, я могу сейчас же телеграфировать, что заболел или вывихнул ногу...

Она медленно и серьезно покачала головою:

– Зачем говорить неправду? Лгут только трусы и слабые лентяи. Тебе, большой Мишика, не идет притворство.

– Даже в шутку?

– Даже в шутку.

Это нравоучение меня немного покорило, и я возразил со сдержанной резкостью:

– Странно. Разве я не хозяин своего тела, своего времени, своих мыслей и желаний?

Она согласилась:

– Конечно, полный хозяин. Но только до тех пор, пока не связан.

– Контрактом? – спросил я с кривой улыбкой.

– Нет. Просто словом.

По правде говоря, мне некуда было дальше идти в нашем разговоре. Но я сознавал, что она права, и потому разозлился и сказал окончательную глупость:

– А разве я не хозяин и своему слову? Хочу – держу его. Хочу – нарушу...

Она не отозвалась. Опустила руки на колена, низко склонила голову. Так в молчании протекли секунды...

С острой горечью, с нежной виноватой жалостью к ней, с отвращением к своей выходке говорил я себе мысленно в эту тяжелую минуту:

– Будь же настоящим мужчиной, стань на колена, обними ее ноги, покрой поцелуями ее волшебные теплые руки, проси прощения! Все пройдет сразу, вся неловкость положения улетучится в один миг.

Но черт бы побрал эту глупую гордость, это тупое обидчивое упрямство, которое так часто мешает даже смелым людям сознаться вслух в своей вине или ошибке. Таким ложным стыдом, фальшивым самолюбием страдают нередко крепкие, умные, сильные личности, но чаще всего дети и русские интеллигенты, особенно же русские политики.

Были моменты, когда мои нервы и мускулы уже собирались, сжимались, чтобы бросить меня к ее ногам, и – вдруг – унылая мысль: «Нет, теперь уже поздно!.. Нужное мгновение пропущено... Жест после долгой паузы выйдет ненатуральным... станет еще стыднее и неловче...»

Но Мария, моя прекрасная, добрая Мария быстро поняла и мои колебания, и мои колючие мысли. Она встала, положила руки на мои плечи и близко заглянула мне в глаза своими ласковыми, чистыми глазами.

– Дорогой Мишика, не будем дуться друг на друга. Прости меня. Я была бестактна, когда вздумала читать тебе мораль. Это, конечно, не дело женщины. Поцелуй меня, Мишика, поцелуй скорее, и забудем все. Делай что хочешь с моим временем и со мною. Я твоя и сегодня, и завтра, и всегда.

Мы помирились сладко и искренно. Но у меня уже не хватило решимости ни продлить нашу ночь на двадцать четыре часа, ни послать на завод телеграмму. Мария довезла меня до вокзала, и мы там расстались добрыми друзьями и счастливыми любовниками.

* * *

Когда вытацишь большую и глубокую занозу, то еще долго саднит пораненное место. Всю неделю не давали мне покоя неприятные, кислые мысли, далеко не лестные для меня самого. Уж очень я грубо развернул перед европейской, умной и прелестной женщиной изнанку русской широкой души: наше небрежение к долгу и слову, нашу всегдашнюю склонность «ловчиться», чтобы избежать прямой и ответственной обязанности, наше отлынивание от дела, а главное, нашу скверную привычку носиться со своим я и совать его всюду без толка и основания, дерзко отменяя опыты культуры, завоевания науки, навыки цивилизации. Не оттуда ли наш нигилизм, анархизм, индивидуализм, эгоцентризм и наш худосочный припадочный атеизм и чудовищно изуродованное сверхчеловечество, вылившееся в лиги любви, в огарчество, в экспроприации? И не эти ли черные стороны русской души создали удобренную почву для такого пышного расцвета русской самозванщины, от Емельки до Хлестакова?.. Пьяный чиновничка, коллежский регистратор, когда его выталкивали за неплатеж из кабачка, непременно грозился: «Погодите! Я еще вот покажу себя! Вы еще не знаете, с кем имеете дело!»...

Теперь ты видишь, друг мой, как в эти дни я корчился, вспоминая свои идиотские слова о честном слове, почти о присяге: «Захочу – держу, захочу – брошу псу под хвост...»

В субботу, по окончании работы, Мария заехала за мною на завод, как нередко делала и раньше. У нее был собственный, небольшой, но быстроходный изящный «Пежо», которым, надо сказать, она владела в совершенстве.

В воротах нам встретился директор. Он почтительно поклонился Марии, низко сняв шляпу. Она дружески кивнула ему головой, послала воздушный поцелуй и сразу взяла третью скорость.

Я любил сидеть в автомобиле не рядом с нею, а сзади, на пассажирском месте. Мне нравились ее ловкие, уверенные движения. Несясь по свободной дороге и точно ловя незаметный ритм машины, она плавно покачивала стройной спиной. Когда мы попадали в тесный затор, она нетерпеливо выпрямлялась и, высоко подняв голову, разыскивала глазами тот свободный коридор, в который можно было ринуться, и когда находила – весело кидалась в него, склонив голову, как бычок. И мне радостно бывало смотреть, как солнце играло золотыми спиралями в рыжеватых вьющихся волосах ее красивого затылка.

В этот день мы немного покатались на лодке, пообедали у меня в гостинице. Ушла она рано, часов около двух. Когда, прощаясь, я посадил ее в автомобиль, она перегнулась через дверцу и сказала:

– Послушай, Мишика! Мне давно хочется, чтобы ты когда-нибудь у меня позавтракал или пообедал. Не приедешь ли ты ко мне завтра, около половины первого или в час?

Я обрадовался.

– Конечно! С большим удовольствием. Но ведь я не знаю ни твоего адреса, ни...

Она закончила за меня:

– Ни фамилии, хочешь ты сказать?

– Да.

– Так запомни: мой адрес – четыре тысячи пятьсот три, Vallon de l'Orjol. Спроси госпожу Дюран.

Я переспросил с удивлением, недоверчиво:

– Госпожу Дюран? (Ведь всем известно, что Дюран самая простая и самая распространенная фамилия во Франции. Достаточно заглянуть в любой справочник или указатель.) Неужели у прекрасной, изысканной Марии такое ничего не говорящее имя?

И тут при жидком свете уличного фонаря я заметил, как густо и жарко покраснело лицо Марии. Она сказала шепотом:

– Нет, Мишика, нет. Я не хочу тебя обманывать. Я вовсе не Дюран. Это мое nom de guerre⁹. Тебе это не нравится?

– О дорогая, я обожаю тебя!

– Все равно, рано или поздно я должна была это тебе сказать. Мое родовое имя очень старое и окружено почетом. Мой отец и дед были адмиралами. Имя моего прадеда, великого адмирала, значится во всех исторических учебниках. Я знаю, тебе не покажется ни смешным, ни странным то, что я дорожу честью моих предков. Но я живу и буду жить только так, как мне самой хочется, и я знаю, что мой образ жизни мог бы скомпрометировать моих родственников, и потому я взяла первое попавшееся имя. И еще я тебе скажу... Я не виновата в том, что откололась от семьи. *Меня почти девочкой связали с человеком, которого я не любила и который меня не любил, любил мое тело и молодость. Он был гораздо старше меня. Надо сказать правду: я пленилась его высоким положением, богатством и славным титулом, но ведь я тогда была очень молода и очень глупа! Да, я солгала в первый и в последний, – заметь, Мишика, – в последний раз! Я убежала от него через неделю. Убежала в ужасе. И вот... Впрочем, довольно, мой Медведь. Ведь если я тебе все это рассказала – ты меня будешь любить не меньше?*

Она засветила прожекторы и рывкнула гудком.

– До завтра, Мишика! – донесся до меня ее звонкий голос.

⁹ Прозвище (фр.).

Глава IX

Павлин

Я приехал к Марии в назначенное время. Жила она на другой окраине города, где было мало шума и много деревьев. Старенькая, седая, благообразная привратница в старинных серебряных очках сообщила мне, что мадам Дюран помещается на третьем дворе, в собственном павильоне-особняке, где, кроме нее и прислуги, нет других жильцов. Этот третий двор, очень обширный, был похож на сад или на небольшой сквер. Вдоль высокого квадрата кирпичной огорожи росли мощные каштаны, а между ними кусты сирени, жасмина и жимолости; двор усыпан гравием; посередине его круглая высокая цветочная клумба, и в центре фонтан – женская нагая фигура, позеленевшая от времени. Сквозь поредевшие листья деревьев можно было заметить огромное, в два этажа, стеклянное окно, такое, какие бывают в мастерских художников и фотографов.

Я позвонил и тотчас же услышал легкие, быстрые, веселые шаги, сбегавшие сверху.

Мария сама отворила дверь. На ней была домашняя одежда: свободное шелковое цветное кимоно с широкими рукавами, обнажавшими по локоть ее прелестные руки. Улыбающееся лицо сияло счастьем и здоровьем. Она взяла меня за руку.

– Идем, идем, Мишика. Я тебе покажу мою келью.

Мы поднялись наверх по отлогой винтовой дубовой лестнице и вошли в ателье, просторное и высокое, как танцевальный зал, все наполненное чистым воздухом и спокойным светом, лившимся сверху, с потолка, и из стеклянного, большого, во всю стену, окна.

Обстановка была совсем проста, но необычна – вся из ясеня: ясеневый паркет, ясеневые панно на стенах, ясеневый громадный, вроде как бы чертежный стол у окна, ясеневые стулья. Я даже услышал с удовольствием давно знакомый мне, милый, свежий, чуть-чуть яблочный запах полированного ясеневоего дерева. И именно благодаря ясеневым фанерам освещение комнаты ласкало и веселило взор, имело изящный, слегка желтоватый колорит, похожий на цвет свеже-сбитого сливочного масла или на липовый мед, вылитый из сотов.

Направо у входа, у стены, стояла низкая и широкая оттоманка, покрытая отличным старинным ковром царственных густых и глубоких красок: темно-зеленой и темно-рыжей.

Никаких украшений. Только на столе помещался черный бархатный экран, а перед ним, на его строгом фоне, стоял фарфоровый кувшинчик с одной-единственной хризантемой: чудесная манера японцев любоваться цветами, не рассеивая внимания и не утомляя зрения.

Не сетуй, мой старый дружище, что я так утонул в подробностях. Ах! там, в этом прекрасном ателье, меня посетили величайшие радости и – по моей вине – отчаянное горе, которое выбило меня из жизни.

Я повернулся лицом к той стене, которая до сих пор была у меня за спиной. И я вдруг увидел удивительную вещь. Прямо напротив меня, совсем закрывая ясеневое панно, стоял необычайной величины великолепный павлин, распутивший свой блистательный хвост. Сначала мне показалось, что я вижу редкостное, по размерам и красоте, чучело, потом я подумал, что это картина, прекрасно написанная масляными красками, и, только подойдя поближе, я убедился, что передо мною – изумительная вышивка на светло-оранжевом штофе зелеными и синими шелками всевозможных тонов, нежнейших оттенков и поразительных, незаметных переходов из цвета в цвет.

Я искренне восторгался: «Какое волшебство! Это уже не рукоделие, а настоящее художественное творчество! Кто сделал такую прелесть?»

Она ответила с кокетливой застенчивостью и с легким реверансом:

– Ваша скромная и покорная служанка, о мой добрый господин.

И потом она спросила:

– Тебе в самом деле нравится этот экран, Мишика?

– Бесконечно. У нас в России были очень искусные вышивальщицы золотом и шелком, но ничего подобного я не мог даже вообразить!

– Так он правда нравится тебе? Я рада и горда, он твой. Возьми его.

Я поцеловал одну за другой ее милые руки и решительно отказался:

– О моя Мария, этот подарок чересчур королевский! Место твоему павлину на выставке гобеленов или в королевском дворце, а не в моем временном бараке или в номере гостиницы.

Я рассказал ей о том, что на мусульманском Востоке существовал, а может быть, и теперь еще кое-где существует, древний величественный обычай: если гость похвалил какой-нибудь предмет в доме – посуду, утварь, ковер или оружие, то ему тотчас же эту вещь преподносили в подарок.

Она захлопала в ладоши.

– Вот видишь, Мишика! Ты должен взять павлина!

Но я продолжал:

– Однако о таком щедром обычае вскоре узнали европейцы, которых великое назначение – нести цвет культуры и цивилизации диким народам. И вот они начали злоупотреблять священным обычаем гостеприимства. Они в домах магометан стали умышленно хвалить то то, то это, пока не потеряли умеренности и не принялись расхваливать хозяину огулом все самые лучшие, самые древние драгоценности, собранные еще прапрадедами. Мусульмане морщились, кричали, беднели с каждым днем, но, верные преданиям, нарушить старый неписанный закон, «адат», не решались. Тогда, сжалившись над ними, пришел им на помощь один знаменитый, мудрый мулла.

– В Коране написано, – сказал Хаджи, – что все в мире имеет свою грань и свой конец, за исключением воли Аллаха. Поэтому и гостеприимству есть предел. В твоём собственном доме даже кровный враг считается выше хозяина. Он больше, чем родственник, он друг, и особа его священна для тебя. Но как только он переехал за черту твоих владений – закон гостеприимства исчезает. Враг снова становится врагом, и от твоего разума зависит, как ты должен поступить с ним. А разве не враг тебе жадный и бесцеремонный человек, который, под защитой твоего великодушия и уважения к старинному закону, безнаказанно обирает твой дом, да еще вдобавок искренне считает тебя ослом?

Верные сыны пророка приняли к самому сердцу это поучение. Послушный закону хозяин по-прежнему терпеливо подносит назойливому гостю все, что ему понравилось в доме. Он почтительно провожает его до порога и желает ему доброй дороги, но спустя малое время он седлает коня и скачет вслед обжорливому гостю, и, настигнув его в чужих владениях, хоть бы даже на соседнем поле, он отнимает у хапуги все свои вещи, не забыв, конечно, вывернуть его карманы и отнять у него все, что имеет какую-нибудь цену. Вот видишь, Мария, до чего доводит ложно понятая щедрость.

Она засмеялась:

– Благодарю за веселую притчу.

Но потом ее влажные темные глаза стали серьезны. Как тогда, в первый день нашего знакомства, у меня в «Отель дю Порт» четыре месяца назад, она положила мне руки на плечи. Ее губы были так близко к моему лицу, что я обонял ее дыхание, которое было так сладостно, точно она только что жевала лепестки дикого шиповника. Она сказала:

– В Испании есть похожий обычай. Там, когда впервые приходит гость, хозяин говорит ему:

– Вот мой скромный дом. Начиная с этого благословенного часа, прошу вас, считайте его вашим собственным домом и распоряжайтесь им, как вам будет угодно.

И она страстно воскликнула:

– Милый мой, любимый Мишика, мой славный бурый медведь! Я от всей души, от всего преданного сердца повторяю эти слова испанского гостеприимства. Этот дом твой, и все, что в нем, – твое: и павлин твой, и я твоя, и все мое время – твое, и все мои заботы – о тебе.

Медленно опуская ресницы, она прибавила тихо:

– Мишика, мне стыдно и радостно признаться тебе... Знаешь ли, теперь мне все чаще кажется, будто бы я всю жизнь искала только тебя, только тебя одного и наконец нашла. Ах, это все болтовня о каком-то далеком, где-то вдали мерцающем идеале. Ну, какой же ты идеал, мой дорогой Медведь? Ты неуклюжий, ты тяжелый, ходишь вперевалку, волосы у тебя рыжие. Когда я тебя увидела в первый раз на заводе, я подумала:

«Вот чудесный большой зверь для приручения». И я сама не помню, как и когда это случилось, что добрый зверь стал моим господином. Я тебя серьезно прошу, Мишика, поживи у меня, сколько тебе понравится. Я не стесню твоей свободы, и когда ты захочешь, мы опять можем вернуться в нашу морскую каютку.

– Мария! а где же твое гордое, брезгливое одиночество? Твоя абсолютная свобода? Отвращение к тесной жизни бок о бок?

Она улыбнулась кротко, но не ответила.

– Поцелуй меня скорее, Мишика, и пойдем завтракать. Я слышу, идет моя Ингрид.

Действительно, открылась боковая дверь, и в ней показалась какая-то женщина и издали поклонилась.

У Марии была уютная светлая маленькая столовая, незатейливая, но очень вкусная кухня и хорошее вино. Прислуживала нам молчаливо эта самая Ингрид – чрезвычайно странное и загадочное существо, по-видимому, откуда-то с севера, из Норвегии, Швеции или Финляндии, судя по имени; светловолосая, с необычайно нежной кожей. Лицо и фигура у нее были как бы двойные. Когда она глядела на Марию, голубые глаза становились необыкновенно добрыми и прекрасными; это был умиленный взор ангела, любующегося на свое верховное божество. Но когда эти глаза останавливались на мне, то мне казалось, что на меня смотрит в упор ядовитая змея или взбешенная, яростная, молодая ведьма. Или мне это только мерещилось? Но такое впечатление осталось у меня на очень долгое время – вернее, навсегда. Достаточно сказать, что каждый раз впоследствии, когда я чувствовал ее присутствие за моей спиной, я невольно и быстро оборачивался к ней лицом, подобно тому как каждый человек инстинктивно обернется, если по его пятам крадется коварная дрянная собака, которая хватается за ноги молчком, исподтишка.

Пользуясь минутой, когда Ингрид вышла из столовой, я спросил Марию:

– Где ты достала эту странную женщину? – И тут же осекся: – Прости, Мария, я опять спрашиваю...

Она на секунду закрыла глаза и печально, как мне почудилось, покачала головой. Может быть, она слегка вздохнула?..

– Нет, Мишика. Это прошло. Теперь спрашивай меня о чем хочешь, я отвечу откровенно. Я верю твоей деликатности. Я тебе сейчас скажу, откуда Ингрид, а ты сам рассуди, удобно ли мне открывать чужую тайну?

– Тогда не надо, Мария... не надо...

– Все равно. Я вытащила ее из публичного дома в Аргентине.

Я не знал, что сказать. Замолчал. А вошедшая Ингрид, точно зная, что разговор шел о ней, пронзила меня отравленным взглядом василиска...

А все-таки наш завтрак кончился весело. Ингрид разлила шампанское. Мария вдруг спросила меня:

– Ты очень любишь это вино?

Я ответил, что не особенно. Выпью с удовольствием бокал-два, когда жажда, но уважения к этому вину у меня нет.

– Послушай же, Мишика, я должна тебе сделать маленькое признание. Мне до сих пор бывает стыдно, когда я вспоминаю о том, как я фамильярно напросилась на знакомство с тобой в ресторане этой доброй толстухи испанки (и она в самом деле покраснела: вообще она краснела не редко). Но я, пожалуй, здесь не так виновата, как кажусь. Видишь ли, у нас в Марсели был один русский ресторан. Теперь его уже больше нет, он разорился и исчез. Я однажды пошла в него с одним моим знакомым, который много лет прожил в России, очень ее любит и отлично говорит по-русски. Я не учла того, что он хотя и умный и добрый человек, но великий шутник и мистификатор. А я, – признаюсь, – плохо понимаю шутку.

В этом ресторане он был моим гидом. Я заметила, что все служащие женщины были дородны и важны, почти величественны. Иногда, с видом милостивого снисхождения, они присаживались то к одному, то к другому столику и пригубливали вино. «Кто эти великолепные дамы?» – спросила я моего спутника. И он объяснил мне: эти дамы – все из высшей русской аристократии. Самая незаметная среди них – по крайней мере, баронесса, остальные – графини и княгини. Потом плясали и пели какие-то маленькие курчавые люди с золотыми тубиками, нашитыми на груди камзола. Одну из их песен мой гид перевел по-французски. В ней говорилось о том, что русские бояры не могут жить без шампанского вина и умирают от ностальгии, если не слышат цыганского пения. Ведь это неправда, Мишика?

– Конечно, неправда.

– А я доверчива до глупости. Я думала, там, у Аллегриа, показать тебе и почет, и тонкое знание аристократической русской жизни. Ну, не глупа ли я была, добрый Мишика? А теперь выпьем этого вина за наше новоселье!

Я сказал шутя:

– За наш брак!

Она отпила глоток вина и ответила:

– Только не это.

Глава X Фламинго

После завтрака Мария показала мне свой дом. Есть на свете старая-престарая пословица: «Скажи мне, с кем ты знаком, а я скажу, кто ты таков». С не меньшим смыслом можно, пожалуй, было бы сказать: «Покажи мне твоё жильё, а я определю твои привычки и твой характер». Комнаты Марии носили отпечаток её простоты, скромного изящества и свободного вкуса. Сразу было видно, что в устройстве комнат она до крайней меры избегала всяких тряпок, бумаги и безделушек.

Первое, что она мне показала, была её спальня – небольшая комната, вся белая: белые крашенные стены, белая соломенная штора на окне, белая, узенькая, как у девочки или монахини, постель. Над изголовьем висело небольшое черное распятие, за которое была заткнута ветка остролистника. На ночном столике, у кровати, стоял бурый плюшевый медведь, растопыря лапы.

– Мишика, ты узнаешь, кто это такой? – спросила Мария лукаво.

– Вероятно, я?

– Конечно, ты. Не правда ли, большое сходство? Но пойдем дальше. Вот в этом простенке моя маленькая библиотека. Ты в ней найдешь кое-что интересное. А здесь наша ванная комната. Посмотри.

Она открыла дверь, и я с восхищением увидел не ванную, а скорее просторный бассейн, с кафельными блестящими стенами и полом с четырьмя ступеньками, ведущими вниз, в воду. Легкий запах вербены улавливался в воздухе. Я сказал, что все это великолепно.

– Поверь мне, мой Мишика, – ответила Мария, – единственная роскошь, которую я себе позволяю, – это вода. Я не могу, физически не могу мыться в тяжелых фаянсовых чашках, или в раковинах под кранами, или в этих противных ваннах, крашенных под мрамор. Вот почему в путешествиях я всегда скучаю по моей ванной комнатке.

Теперь, Мишика, я покажу тебе твою собственную комнату, хотя я тебе уже говорила, что весь дом, с живым и мертвым инвентарем, принадлежит тебе.

Я засмеялся.

– Во всяком случае, ты можешь оставить себе прекрасную Ингрид.

– Да, – сказала она, – эта девушка ни на кого не производит приятного впечатления. У нее дикая мания, что все люди, которые бывают у меня, – злые враги или коварные шпионы, всегда умышляющие гибель ей, а главное, и мне. Но она, бедняжка, так много перестрадала в своей недолгой жизни! Я тебе расскажу когда-нибудь, и ты поймешь ее.

– Ну вот, смотри, Мишика. Твоя комната, – распахнула Мария дверь.

Это было прекрасное, очень большое помещение, меньше, чем ателье, но также обшитое ясенем; с большим и глубоким диваном из замши, с массивным ясеневым письменным столом. Все, в чем я мог бы нуждаться, было здесь под рукою, внимательно обдуманное и любовно устроенное, от прекрасных письменных принадлежностей до шелковой вышитой пижамы, сигар, папирос, содовой воды и виски.

Я поцеловал ее.

– Как ты добра и мила, моя Мария.

– Твоя! – весело воскликнула она.

– В доме, кроме нас двоих, еще три человека: кухарка – она почти невидима, но ты можешь заказывать меню по своему вкусу. Затем один отставной матрос Винцет; зимою он истопник, а летом садовник, предобрый малый. Ты его можешь посылать с поручениями, он знает наизусть всю Марсель. Он же, когда нужно, подаст автомобиль – гараж напротив. А на Ингрид ты не обращай внимания. Пусть она гримасничает. Все твои приказания она исполнит

беспрекословно. Ей, вероятно, тоже не особенно будет приятно, если я прикажу ей взять рукою раскаленную добела железную полосу, однако она схватит ее, ни на секунду не задумавшись... Теперь ты введен в свои владения. Я забыла только сказать, что к твоим услугам всегда готов шофер. Это – я. Пойдем теперь ко мне в мастерскую пить кофе.

Восточная оттоманка. Низенький японский лакированный столик. Кофе с гущей по-турецки, ароматный и крепкий, принесенный в кофейнике из красной меди; сладкий дым египетской папиросы. Прекрасная Мария, сидящая на ковре у моих ног... Я бы смело мог вообразить себя восточным султаном с табачной этикетки, если бы не маленькие графинчики из граненого хрусталя. Павлин на стене сиял, блистал и переливался при ярком свете во всем своем пышном великолепии.

Я сам тогда не знал, почему так часто привлекал мой взгляд этот удивительный экран и почему он возбуждал во мне какое-то беспокойное внимание... Позднее я узнал...

Я говорил Марии:

– Мне кажется странным, почему ни один великий земной владыка не избрал павлина эмблемой своей власти. Лучший герб трудно придумать. Погляди: его корона о ста зубцах, по количеству завоеванных государств. Его орифламма вся усеяна глазами – символами неустанного наблюдения за покоренными народами. В медлительном и гордом движении его мантия волочится по земле. Это ли не царственно?

Она слушала меня, улыбаясь. Потом сказала:

– Я думаю, Мишика, что государи выбирали себе гербы не по красоте эмблемы, а по внутренним достоинствам. Орел – царь всех птиц, лев – царь зверей, слон – мудр и силен. Солнце освещает землю и дарит ей плодородие. Лилия – непорочно чиста, как и сердце государя. Петух всегда бодр, всегда влюблен, всегда готов сражаться и чувствителен к погоде.

А у павлина ничего нет, кроме внешней красоты. Голос у него раздражающий, противный, а сам он глуп, напыщен, труслив и мнителен.

Я возразил:

– Однако участвует во всех королевских церемониях горностаевая мантия? Между тем тебе, конечно, известно, что горностаи, этот маленький хищник, – очень злое и кровожадное животное.

– Знаю. Но зато о нем вот что говорит народное сказание. Он очень гордится чистотой своей белой шкурки, и все время, когда не спит и не предается разбою, он непрерывно чистится. Но если на его мехе окажется несмываемое пятно, то он умирает от огорчения. Оттого-то на старинных гербовых горностаевых мантиях можно прочесть надпись: «Лучше умереть, чем запачкаться». Смысл тот же, что и у белой лилии, – непорочность души.

А ты знаешь, Мишика, что во многих южных странах павлин считается птицей, приносящей несчастье и печаль?

– Нет. Я не слышал. Думаю, что это просто суеверный вздор.

– И я тоже.

Так мы пили кофе и мило болтали. Нет-нет, а я все поглядывал на павлина, чувствуя все-таки, что какая-то странная, неуловимая связь есть у меня с этой художественной вещью.

Мария спросила:

– Ты все любишь своим павлином? Как я рада, что угодила тебе. Завтра я начну работать над новым экраном. Хочешь, я тебе скажу, какой будет мотив? Представь себе: маленькое болотце, осока и кувшинки. Вдали едва встает заря, а на болоте несколько птиц фламинго, все в разных позах. Та стоит на одной ноге, другая опустила клюв в воду, третья завернула шею совсем назад и перебирает перышки на спине, четвертая широко распустила крылья и перья, точно потягиваясь перед полетом... Я все это вижу сейчас перед глазами так ясно-ясно. Боюсь только, что не найду нужных мне оттенков шелка. У фламинго прелестная, необычайная окраска оперения: она и не розовая и не красная, она особенная. А кроме того, очень трудно

проследить, как бледнеет эта окраска, постепенно исчезая в белой... Таких нюансов не знает никто: только – природа.

Я сказал:

– По всему видно, что ты любишь свое искусство. Это, должно быть, большое счастье!

– Да, большое. Но моя работа – только полуйскусство, а потому не знает ревности и зависти...

Тогда я спросил:

– Мария, ты великодушно разрешила мне задавать иногда тебе вопросы, полагаясь на мою осторожность... Как много ты уже сделала таких прекрасных панно?

– Я не помню. Около пятидесяти.

– Тут же ты, конечно, считаешь и копии?

– Нет. Я бы не могла повторяться. Скучно. Самое приятное – это когда находишь тему и думаешь о ней.

– А потом, когда картина окончена, тебе не жалко расставаться с ней?

– Нет, не жалко. Хочется только, чтобы она попала в хорошие руки. Но зато, когда я увижу спустя некоторое время у кого-нибудь мою работу, то я чувствую тихую грусть: точно мне случайно показали портрет давно уехавшего, доброго друга.

Я покачал головой.

– Друг – это тоже большое счастье. Я не верю, чтобы у человека могло быть больше одного друга. Сколько же у тебя, Мария, друзей, если ты раздала на память около пятидесяти панно?

– Друзей? У меня есть три-четыре человека, с которыми я выдаюсь без неудовольствия и чаще по делу, чем для интимной беседы. Друг у меня только один – это ты. Что же касается до моих экранов, то я их отсылаю в Париж, в известный магазин редких вещей, и, надо сказать, мне там очень хорошо платят. Такие вещи могу и умею делать только я. Больше никто. Есть богатая американская фирма, которая покупает каждую мою вещицу. Магазин берет не очень большой процент. Ну, что же: признаваться – так признаваться до конца.

Последние слова Марии поразили меня не так чтобы очень приятно. Я сразу даже не сообразил того, как не вяжутся эти два положения. С одной стороны, образ жизни Марии: ее прекрасный особняк, трое человек прислуги, редкая обстановка, чудесные и очень дорогие, несмотря на их простоту, парижские костюмы и широкая трата денег... С другой стороны, ручная работа шелком по атласу, весьма медленная и кропотливая. Что она может дать? Не более тысячи, ну, скажем, щедро, двух в месяц...

Нет, эта мысль не бросилась мне первой в голову.

Самые слова «ручная работа» показались мне какими-то уж очень прозаичными, будничными, жалкими, годными для швей и портных. И весь роман мой как бы замутился, потускнел, сузился и обесцветился.

В ту пору, когда еще, не зная имени моей новой, неожиданной и прекрасной любовницы, я мысленно делал ее то международной шпионкой, то курортной сиреной, то контрабандисткой, то фантастической Мессалиной, – во мне играла, щекоча мужское самолюбие, гордость завоевателя. Тогда я выбивался из сил, чтобы никогда не позволить ей платить за себя, и, наоборот, щеголял щедростью и предупредительностью.

И вот она оказалась всего лишь трудящейся женщиной, живущей вышивальной работой... Наверное, ребро указательного пальца левой руки привычно истыкано у нее иголкой. Замечал я это или не замечал? Словом, я чувствовал себя разочарованным. Моя связь с женщиной загадочной, немного роковой, а главное, богатой и эффектной, обратилась в обыкновенную интрижку с швейной мастерицей. Я чувствовал себя обманутым, как бы обкраденным. Боже мой, как глуп и как ничтожен был я в эти минуты. Ах! Мы, русские, слишком много читаем без всякого разбора, слишком часто воображаем себя героями прочитанного!

Я долго и уныло молчал. Поняла ли Мария? Прочитала ли она мои мысли? Она взяла мои руки (и я мог потихоньку убедиться, что указательный палец у нее гладок и нежен), она притянула меня близко к себе и сказала следующее:

– Мишика, у меня нет тайн от тебя, и ты надо мною не будешь смеяться. Я не верю ни в демократию, ни в филантропию. Я знаю только одно: мне стыдно есть, если около себя я вижу голодного человека или голодную собаку. Мне издали стыдно и при мысли о них. Дела мои так устроились, что я получаю достаточно много, несколько больше, чем мне нужно. Но меня всегда стесняла и тревожила мысль, что я получаю эти деньги ни за что. И вот мне однажды пришла верная, по моему убеждению, мысль. Я должна заработать по возможности столько же, сколько трачу на себя, и эту сумму раздавать там, где мне всего яснее, резче кидается в глаза настоящая нужда. Так я квитаюсь с обществом и с моей совестью. Ты понял меня, Мишика?

* * *

Мне стало стыдно. Но о подлой причине этого стыда и о низких мыслях не сказал ни слова. А надо бы было, – для собственной казни...

Этот день мы провели чудесно. Я чувствовал себя, как большой добрый пес, который утром напроказил и уже был за это наказан, даже прощен, но еще до вечера нет-нет да и попросит извинения, то печальным взглядом, то хвостом... Мария – точно она видела эту занозу в моей душе – была необыкновенно мила и нежна со мною.

Она пробыла в моей новой комнате до глубокой ночи. Она уже собиралась уйти, но вдруг остановилась.

– Мишика! – сказала она почти робко. – Ты не рассердишься, если я у тебя останусь до утра? Ты не прогонишь меня?

А утром, когда она еще спала, я увидел на ее лице тот неопишимо-розовый нежный оттенок, который бывает на перьях фламинго перед переходом в белый цвет.

Глава XI

Зенит

В конце декабря Мария получила из Неаполя короткое и весьма безграмотное письмо, нацарапанное ужасным почерком по-итальянски. Оно было от сестры Джiovанни, того самого красавца матроса «суперкарго», с которым мы едва не разодрались насмерть. С наивной и глубокой простотой писала итальянка, что брат ее погиб в Бискайском заливе, во время крушения парохода «Geneva». Уходя в последнее плавание, он оставил дома адрес госпожи Дюран и просил известить ее в случае его смерти.

«Молитесь о нем вместе с нашей осиротевшей семьей» – так кончалось это письмо. Когда Мария переводила мне его, у нее на опущенных ресницах дрожали слезы.

Она никогда не скрывала от меня своих действий. Я знал, что она послала семье погибшего Джiovанни крупную сумму денег и заказала по нем в соборе Nostra Dama della Guarda заупокойную мессу.

Я не мог понять и не допытывался: сохранился ли еще в ее памяти любовный образ прекрасного моряка, или ее внимание к умершему и к его семье было дружеской спокойной благодарностью за прошлое счастье.

Впрочем, мужчины, пожалуй, никогда не освоятся с тем, что женщине трудно разлюбить, но если она разлюбила, то уже к прошлой любви никогда не вернется. Мужчин же этот возврат часто тянет.

Я был очень сдержан в эти дни, но «черная болезнь» – нелепая ревность к прошедшему, – признаюсь, нередко охватывала меня.

«Он знал ее адрес на Валлон-де-Л'Ориоль. Может быть, он и бывал здесь. Может быть, мой широкий диван из замшевой кожи...» – думал я иногда, и у меня перед глазами ходили огненные круги и ноздри раздувались. Я сказал Марии, что хочу переехать в «Отель дю Порт». Она охотно согласилась со мною: там пришла к нам наша внезапная и горячая любовь, там осталось так много воспоминаний, необыкновенных и трогательных.

Но оказалось, что наш отель с корабельной каютой на чердаке затеял капитальный ремонт. Пришлось остаться в доме у Марии. Да и нужно сказать, мое ревничее люмбаго довольно скоро прошло: так мила, нежна, предупредительна была со мною Мария.

Жизнь снова и безболезненно наладилась. Каждое утро Мария отвозила меня на завод, а вечером заезжала за мною. Завтракал я на службе.

Отношения мои с сослуживцами были по-прежнему добрые, приятельские, но где-то в них уже таилось едва заметное, едва ощутительное охлаждение.

Я уже не принимал участия в прежних беспечных эскападах в теплые темные уголки Марсели с их портовыми приманками, я не сидел вместе с нашей ладной горластой компанией у Бассо за пламенным буйабезом. Я не ходил с друзьями в тесной гурьбе по театрам, циркам, музеям и народным праздникам, не открывал с ними новых уютных кабачков.

Конечно, они знали о связи моей с Марией, и это обстоятельство тоже содействовало взаимному отчуждению.

Это ведь постоянно так бывает: из дружного, слаженного кружка закадычных холостяков вдруг выбывает один перебежчик, чтобы навсегда погрузиться в лоно семейных тихих радостей, и весь кружок долго чувствует себя разрозненным, опустелым, пока не зарубцется, не станет привычным изъян. Встречи с ним, внешне, остаются по-прежнему сердечными, но в них невольно скользят и легкое презрение к изменнику, и укор, и сожаление о добровольной утрате им холостой свободы. «Ну что? как? Здоров? весел? счастлив?» И с лукавой, недоверчивой приязнью слушают прокуренные холостяки его немного театральные восторги.

– Да вы приходите когда-нибудь ко мне. Жена моя – это такой славный товарищ! Она давно знает и любит вас по моим рассказам. Навестите же нас при первом случае. Для каждого из вас всех найдется уголок у камина, старая сигара и стакан доброго вина. Вспомним нашу бурную проказливую молодость.

Коренастые замшелые холостяки кивают головами, крикают, благодарят и лукаво переглядываются: «Знаем мы, как бывают любезны молодые жены к холостым друзьям мужа-новобранца...» И с удовольствием думают про себя, что ни в клубы, ни на суда – военные, торговые и даже пиратские – вход женщине не допускается.

А еще более дело осложняется, когда друзьям известно, что ренегат не закрепил своего сожителства формальным образом: ни в церкви, ни в мэрии, ни у нотариуса. Тут бог знает из каких глубоких недр вылезают наружу старые, заржавленные, давно забытые предрассудки.

Все это я вспомнил и испытал в тот день, когда в моем бараке на заводе мои сотрудники дали пышный обед мне и Марии. Надо сказать, во-первых, что выпито было за столом несравненно больше, чем мои друзья позволили бы себе в присутствии «законной супруги». А во-вторых, в словах, обращенных к ней, в нелепых русских тостах и шуточных брачных намеках были неискренность, натянутость, приподнятость, вместе с худо скрытой развязностью. Я как будто бы прозревал их настоящие, циничные мысли: «Твое дело – капризный случай. Разве все мы не видели, как на твоих коленях сидели прехорошенькие девчонки и пили с тобою из одного стакана? Игра судьбы, что одна из них не сидит сейчас на почетном месте, игра судьбы, что эта досталась тебе, а не мне». Смешно сказать: все мужчины в этом смысле самомнительны до идиотства. Каждый лакей в аристократическом доме или во дворце, если он только не старше пятидесяти лет, такого высокого мнения о своих мужских достоинствах, что без особого волнения встретит минуту, когда его никому не доступная великолепная госпожа скажет ему, снимая одежды: «Неужели ты до сих пор не замечал, что я вся твоя?» «Рюи-Блаз» – героическая пьеса, однако она оказалась написанной точно специально для лакеев. По крайней мере – это их излюбленная пьеса.

И не вследствие ли этой уверенности в женской податливости, с одной стороны, и в своей собственной неотразимости – с другой, большинство мужчин склонно так хвастливо, так неправдоподобно, так грубо врать о своих любовных успехах?

И у такого хвастуна есть свое внутреннее темное оправдание: «Положим, этого никогда не случилось, но будь у меня свободное время, благоприятные условия, да поменьше робости, да побольше настойчивости, оно все равно непременно случилось бы...»

Словом, этот обед еще больше расторг мою прежнюю близость с сослуживцами.

Мария, в свою очередь, ответила им обедом, на котором была очень мила и обходительна, но недоступно холодна. На прощанье, когда кто-то из моих друзей намеревался поцеловать у нее руку, она не позволила. Она сказала:

– Это был, вероятно, прекрасный обычай в старину. Теперь он выходит из моды даже во дворцах.

И, чтобы загладить резкость, она прибавила, улыбаясь:

– Впрочем, и дворцы выходят, кажется, из моды.

Это замечание обидело. А ведь надо сказать правду: мы, русские, целуем дамские руки раз по тридцати в сутки, целуем знакомым, ползнакомым и вовсе незнакомым дамам, и при этом вовсе не умеем целовать хотя бы немножко прилично. Да и поцелуй руки – это высшая, интимная ласка. С какой стати мы мусолим руку каждой женщины без смысла для нее и для себя?

И тоже: надо наконец серьезно подумать и о рукопожатиях. Сколько есть на свете мокрых, грязных, холодных, вялых, точно распаренных или сухо и жестко горячих, явно враждебных, несомненно преступных и просто отвратительных рук. И каждую из них вы, при случайном знакомстве, должны пожать, несмотря на то, что ваша рука – этот тончайший аппарат чувстви-

тельности – содрогается и протестует всеми своими нервами. Не лучше ли кивок, полупоклон, ну, в крайности, даже глубокий, черт побери, поклон?

Так мы с Марией и остались одни в шумной, людной, пестрой Марсели. Отношения мои с сотрудниками стали вежливо деловыми, хотя порою мне казалось, что я читаю в их случайных взглядах подозрительный и ядовитый вопрос: «А уж не состоишь ли ты на содержании у женщины?» Страшный вопрос для мужчины.

Вот почему я бесконечно обрадовался, когда бельгийское общество купило мой патент на новый гидравлический пресс и я получил деньги, для меня в то время довольно большие.

Был, впрочем, один человек, который казался мне искренно привязанным к Марии и глубоко ее уважавший. Это – главный директор нашего завода, господин де Ремильяк, старый, сухой гасконец, с серебряной узкой бородой и пламенными черными глазами. Он говорил о мадам Дюран с рыцарской почтительностью. Каждый раз, когда он спрашивал меня о ее здоровье или посылал ей поклон, то, называя ее имя, он неизменно приподнимал свою каскетку. Гораздо позже я узнал, что де Ремильяк был большим другом ее покойного отца и что он вел все денежные дела Марии. Между прочим, часть ее состояния была в акциях нашего завода.

В первые месяцы я совсем не чувствовал отсутствия мужской свободной компании. Видишь ли: есть у татар такое словечко – «хардаш», что значит, товарищ, друг. Но у них товарищи бывают разного рода: товарищ по войне, товарищ по торговле, товарищ по пирушке... Есть также и товарищ по путешествию, спутник. Он называется киль-хардаш, и им очень дорожат, если он имеет все добрые качества своего звания. Так вот: Мария как раз была чудеснейшим киль-хардашем.

Она обладала той быстротой, четкостью и понятливостью взгляда, которые Бог посылает как редчайший дар талантливым художникам и писателям, но гораздо щедрее, чем мы думаем, раздает женщинам, умным и искренно любящим жизнь. Ее наблюдения были верны, а замечания остры и забавны, но никогда не злы.

Мы любили путешествовать наудачу. Брали карту Прованса, кто-нибудь из нас, зажмурив глаза, тыкал пальцем куда попало, и какой город или городишко оказывался под пальцем, туда мы и ехали в ближайшую субботу. Прованс неистощим в своих красотах.

Странно: чаще всего в этом гаданье выпадал у нас городок с весьма забавным названием: Cheval-Blanc – Белая Лошадь! Но он был точно заколдован: всегда нам что-нибудь мешало открыть его. Мария однажды сказала о нем очень мило:

– Ты знаешь, как я себе рисую этот таинственный город? Там давно уже нет ни одного живого существа. Плющом повиты развалины старых римских домов и разбитых колонн. А на площади высится лошадь из белого мрамора, раз в десять выше натурального конского роста. Крошечные жесткие колючие кустарники, и кричат цикады... и больше ничего нет. Но я думаю, что ночью, при лунном свете, там должно быть страшно...

Удивительно: этот неведомый городок всегда тревожил мое воображение каким-то смутным предчувствием. Не суждено ли мне умереть в нем? Не ждет ли меня радость? Или, может быть, глубокое горе? Судьба бежит, бежит, и горе тому, кто по лени или по глупости отстал от ее волшебного бега. Догнать ее нельзя.

Незабвенные жаркие дни под южным солнцем; сладостные ночи под черным небом, усеянным густо, до пресыщения, дрожащими южными звездами. Прохладная тихая полутьма и строгий мистический запах древних каменных соборов, уютные остеллеры и обержи¹⁰, где пища была так легка и проста, незатейливое местное вино так скромно пахло розовыми лепестками, а ласковая улыбка толстой хозяйки так дружески поощрительна, что нам казалось, будто мы пьем и едим на голой груди матери-земли, прильнув ртами к ее всеблагим напряженным сосцам.

¹⁰ Постоялый двор (от *фр.* auberge).

Старый друг мой, дорогой мой дружок! Никому я обо всем этом никогда не говорил и, уж конечно, больше не скажу. Прости же мне мое многоречие...

Есть у меня утешение – моя исключительно точная память. Но как сказать: не источник ли этот дар и моих бесплодных мучений? Когда жаждущему дают морскую воду, он радуется ее прохладе, но, выпив, терзается жаждой вдвое.

У меня в памяти большая коллекция живых картин. Сюжет всегда один и тот же – Мария, – но разные декорации. Стоит мне только вытащить из моего запаса экзотическое название любого провансальского городишки или станции, связанной с нашей любовью, – какой-нибудь «Cargneiranne», или «Pont de la Clue», или «Mont des Oiseaux», или «Pas de Lancieres», или «La Barque», – вытащу, и вот передо мной полосатые навесы от солнца, длинное одноэтажное здание, крашенное в желтую краску, запах роз, лаванды, чеснока и кривой горной сосны; виноградный трельяж и непременно Мария. Она видится мне так резко и красочно, точно в камере-обскуре. Я слежу за ее легкими движениями, поворотами головы, игрой света и тени на ее лице. Я слышу ее голос, вспоминаю каждое ее слово.

Вот теперь мне вспоминается Борм... Такой небольшой уездный городишко между Тулоном и Сен-Рафаэлом. Мы в гостинице (Hostellerie), которой насчитывается около пятисот лет. Несколько раз она меняла свое название вместе с хозяевами. Последний владелец, бретонец, назвал ее «La Corriganne», что на его языке значит «Морской грот».

Там было чистенько, уютно, прохладно, но ни одного намека на грубоватую прелесть утекших веков...

Нас проводили наверх, в крытую веранду. Сквозь ее широкие арки виден был весь город, в котором все дома сверху донизу тесно и круто лепились по скалам, без малейших промежутков, совсем как соты; едва намечались какие-то узенькие проходы, винтовые лестницы, слепые черные дыры. Наверху, как на шпиле, громоздилось неуклюжее серое здание замка «Chateau fort» – бывшее страшное разбойничье гнездо.

Внизу жило, дышало, рябило, сверкало далекое море такой глубокой, густой синевы, которую можно было бы скорее назвать черной, если бы она не была синей.

Мария стояла с биноклем в середине арки, облокотившись обоими локтями о подоконник. Вдруг она воскликнула:

– Мишика, иди скорей! Посмотри на эту лодку! О, как красиво!

Я подошел, взял у нее бинокль, поглядел и подумал: что же тут необыкновенного? Сидит на веслах человек в белом костюме с красным поясом и гонит лодку.

Но она говорила:

– Нет, ты посмотри повнимательнее: весла – как крылья стрекозы. Вот она мгновенно расправила их, и как остр, как прекрасен их рисунок. Еще момент, и они исчезли, точно растаяли, точно она потушила их, и опять, и опять. И что за прелестное тело у лодки. А теперь посмотри вдаль, на этого шоколадного мальчика.

На скале стоял почти черный мальчуган, голый. Левая его, согнутая в локте рука опиралась на бедро, в правой он держал тонкую длинную палку, должно быть, что-то вроде остроги, потому что иногда, легко и беззаботно перепрыгивая с камня на камень, мальчик вдруг быстрым движением вонзал свою палку в воду и для противовеса округло подымал левую руку над головой.

– О Мишика, как это невыразимо красиво! И как все слилось: солнце, море, этот прозрачный воздух, этот полудетский торс, эти стройные ноги, а главное – что мальчишка вовсе не догадывается, что на него смотрят. Он сам по себе, и каждое его движение естественно и потому великолепно... И как мало надо человеку, чтобы до краев испить красоту!

Странно: в этот момент как будто бы впервые раскрылись мои внутренние душевные глаза, как будто я впервые понял, как много простой красоты разлито в мире.

Весь мир на мгновение показался мне пропитанным, пронизанным какой-то дрожащей, колеблющейся, вибрирующей, неведомой многим радостью. И мне почувствовалось, что от Марии ко мне бегут радостные дрожащие лучи. Я нарочно и незаметно для нее приблизил свою ладонь к ее руке и подержал ее на высоте вершка. Да, я почувствовал какие-то золотые токи. Они похожи были на теплоту, но это была совсем не теплота. Когда я вплотную прикоснулся рукою к руке Марии – ее кожа оказалась гораздо прохладнее моей.

Она быстро обернулась и поцеловала меня в губы.

– Что ты хочешь сказать, Мишика?

Тогда я рассказал ей о золотых лучах, проникающих вселенную.

Она обняла меня и еще раз поцеловала.

– Мишика, – сказала она в самые губы мне. – Это любовь.

В каждом большом счастье есть тот неуловимый момент, когда оно достигает зенита. За ним следует нисхождение. Точка зенита!.. Я почувствовал, как моих глаз тихо коснулась темная вуаль тоски.

Глава XII

Тангенс

Ах, друг мой, друг мой. Обоим нам приходилось когда-то изучать тригонометрию. Там, помнишь, есть такая величина – тангенс, касательная к окружности круга. Меня, видишь ли, ее загадочное, таинственное поведение приводило всегда в изумление, почти в мистический страх. В известный момент, переходя девяностый градус, тангенс, до этой поры возраставший вверх, вдруг с непостижимой быстротой испытывает то, что называется разрывом непрерывности, и с удивлением застаёт самого себя ползущим, а потом летящим вниз, – полет, недоступный человеческому воображению. Но еще больше поражало меня то, что момент этого жуткого превращения совершенно неуловим. Это ни минута, ни секунда, ни одна миллионная часть секунды: ведь время и пространство можно дробить сколько угодно, и всегда остаются довольно солидные куски... Где же этот таинственный момент?

Был у меня один приятель, Колька Цыбульский, талантливейший математик и музыкант и в то же время не только отчаянный эфироман, но и поэт сернистого эфира. Он как-то рассказывал мне об ощущениях, сопровождающих вдыхание этого наркотика.

– Сначала, – говорил он, – неприятный, даже противный, сладкоприторный запах эфира. Потом страшное чувство недостатка воздуха, задыхания, смертельного удушья.

Но мысль и инстинкт жизни ничем не усыплены, ничем не парализованы.

И вот, – совсем не «вдруг», без всяких границ и переходов, – я живу в блаженной стране Эфира, где нет ничего, кроме радостной легкости и вечного восторга.

– Часто, ложась на диван, – говорил Цыбульский, – и закрывая рот и нос ватной маской, пропитанной эфиром, я настоятельно приказывал себе: «Сознание не теряется сразу, заметь же, заметь, непременно заметь момент перехода в nirvanу...» Нет! все попытки были бесполезны. Это... это непостижимо... Это вроде превращения тангенса!

– Вот так же, мой друг, я думаю, неуловим и тот момент, когда любовь собирается либо уходить, либо обратиться в тупую, холодную, покорную привычку. И может быть, именно в Борме, в тот самый миг, когда души наши до краев были налиты счастьем, – тогда-то и пошла на убыль, незаметно для меня, моя любовь к Марии.

Она сказала ласково, почти вкрадчиво:

– Мишика! Здесь так хорошо. Оставим здесь наш шатер еще на один день?

Я вспомнил нашу давнюю маленькую ссору, еще там, в «Отель дю Порт», в нашей корабельной каюте, и вдруг почувствовал себя утомленным и пресыщенным.

Я возразил:

– А моя служба на заводе? А долг чести? А верность слову?

Она поглядела на меня печально. Белки ее глаз порозовели.

– Ты прав, Мишика. Я рада, что ты стал благоразумнее меня. Поедем.

Мне стало жалко ее. Я поторопился сказать:

– Нет. Отчего же? Если ты хочешь, я останусь с удовольствием...

– Нет, Мишика. Поедем, поедем.

Я согласился. Дорога до Марсели была длинна и скучна. Мы много молчали. Чувство неловкости впервые легло между нами. Потом оно, конечно, рассеялось, и наши новые встречи казались по-прежнему легкими и радостными.

* * *

Теперь-то я многое обдумал и многое понял, и я убежден, что мы, мужчины, очень мало знаем, а чаще и совсем не знаем любовный строй женской души. У Марии, так смело и красиво исповедовавшей свободу любви, было до меня несколько любовников. Я уверен, ей казалось вначале, что каждого из них она любит, но вскоре она замечала, что это было только искание настоящей, единственной, всепоглощающей любви, только самообман, ловушка, поставленная страстным и сильным темпераментом.

Большинство женщин знает – не умом, а сердцем – эти искания и эти разочарования.

Почему наиболее счастливые браки заключаются во вдовстве или после развода? Почему Шекспир устами Меркуцио сказал: «Сильна не первая, а вторая любовь»?

Мария, невзирая на свою женственность, обладала большой волей и большим самообладанием. В любви не ее выбирали: выбирала она. И она никогда не тянула из жалости или по привычке выветрившейся, нудной, надоевшей связи, как невольно тянут эту канитель многие женщины. Она обрывала роман задолго до длинного скучного эпилога и делала это с такой ласковой твердостью и с такой магнетической нежностью, какую я увидел впервые на примере покойного суперкарго Джиованни. Ведь позднее, уступая моей неумемной ревности к прошлому, она мне многое, многое рассказала.

Еще я тебе скажу: есть неизбежно у женщины, нашедшей наконец свою истинную, свою инстинктивно мечтанную и желанную любовь, есть у нее одно великое счастье, и оно же величайшее несчастье: она становится неуголимой в своей щедрости. Ей мало отдать избраннику свое тело, ей хочется положить к его ногам и свою душу. Она радостно стремится подарить ему свои дни и ночи, свой труд и заботы, отдать в его руки свое имущество и свою волю. Ей сладостно взирать на свое сокровище как на божество, снизу вверх. Если мужчина умом, душой, характером выше ее, она старается дотянуться, докарабкаться до него; если ниже, она незаметно опускается, падает до его уровня. Соединиться вплотную со своим идолом, слиться с ним телом, кровью, дыханием, мыслью и духом – вот ее постоянная жажда!

И невольно она начинает думать его мыслями, говорить его словами, перенимать его вкусы и привычки, – болеть его болезнями, любоваться его недостатками. О! Сладчайшее рабство!

Такую-то любовь и принесла мне моя Мария. Ты, конечно, скажешь, что этот божественный дар был безумие, бессмыслица, дикое недоразумение, роковая ошибка? Тысячу раз говорил и до сих пор говорю я себе то же самое. Но кто же от начала мироздания сумел проникнуть в тайны любви и разобраться в ее неисповедимых путях? Кто взял бы на себя смелость, устранивая любовные связи, соединять достойных и великодушных с великодушными, красивых с красивыми, сильных с сильными, а осевшую гущу выбрасывать в помойную яму?

Впрочем, это все философия. Бросим! Допьем наше вино, и я расскажу тебе о себе самом. Сделаю это без всякой пощады, со злобным удовольствием.

– Я – как бы тебе сказать?.. – я... «заелся». Так у нас говорят ярославские мужики про своего же брата мужика, который случайно разбогател, а следовательно, загордился, заважничал и захамил: «Чего моя левая нога хочет!» Вот про него-то и говорят: «Ишь, заелся, сладкомордый!» Видишь, друг, я не щажу себя.

С первых дней нашего знакомства я очень скоро и с восхищением убедился, что Мария гораздо выше меня – и интеллектом, и любовью к жизни, и любовью к любви. От нее исходила живыми лучами здоровья теплая, веселая доброта. Каждое ее движение было уверенно, грациозно и гармонично. Она была красива своей собственной оригинальной красотой, неповторимой и единственной. Разве я не видел постоянно, как пристально на нее глядели мужчины,

и какими долгими, испытующими, ревнивыми взглядами ее провожали женщины, и как они по многу раз оборачивались на нее.

Я уже говорил тебе, что в первые розовые дни нашей любви я чувствовал себя перед нею и некрасивым и неуклюжим... Она для меня была богиня или царица, полюбившая простого смертного. Ее свобода еще более подчеркивала мою русскую стеснительность...

Но как бездонно глубока область интимных любовных восторгов. Ни для кого не прощупываемая, альковная жизнь связывает двоих людей – мужчину и женщину – ночной эгоистической тайной; делает их как бы соучастниками сокровенного сладостного греха, в котором никому нельзя признаться, о котором, даже между собою, стыдно говорить днем и громко.

Эта сила любовной страсти побеждает все неловкости, сглаживает все неровности, сближает крайности, обезличивает индивидуальности, уравнивает все различия: пола, крови, происхождения, породы, возраста и образования и даже социального положения – так несказанно велика ее страшная, блаженная и блажная мощь!

Но в этой стихии всегда властвует не тот, который любит больше, а тот, который любит меньше: странный и злой парадокс!

* * *

Не знаю сам, когда и как это случилось, но вскоре я почувствовал, что проклятая сила привычки уничтожила мое преклонение перед Марией и обесцветила мое обожание. Пафос и жест вообще недолговечны. Молодой и пламенный жрец сам не замечает, каким образом и когда обратился он в холодного скептического хитреца.

Я не разлюбил Марию. Она оставалась для меня незаменимой, обольстительной, прекрасной любовницей. Сознание того, что я обладаю ею и могу обладать, когда хочу, наполняло мою душу самолюбивой, павлиньей гордостью. Но стал я в любви ленив, небрежен и часто равнодушен. Меня уже не радовали, не трогали, не умиляли, не занимали эти нежные словечки, эти ласковые, забавные имена, эти милые, глупые шалости, все эти маленькие невинные цветочки насыщенной любви. Я потерял и смысл и вкус в них, они мне стали непонятны и скучны. Я позволял себя любить – и только. Я был избалованным и самоуверенным владыкой.

Но так же, как Марии не пришло бы никогда в голову мерить и взвешивать свою щедрую, широкую, безграничную любовь, так и я совсем не замечал перемены в моих отношениях к ней. Мне казалось, что все у нас идет по-прежнему, просто и ровно, как и в первые дни. Да. Постепенность и привычка – жестокие обманщицы: они работают тайком.

Но это еще не все. Та прежняя Мария, которой я еще недавно так любовался, Мария-друг, Мария-собеседник, Мария-спутник – «киль-хардаш», веселый, живой ее ум, прекрасный характер, светлая любовь к жизни, милость ко всему живущему – все это потеряло в моем сознании и пленительность и ценность. Скажу даже, что многое в Марии мне начинало не нравиться.

Было у нее, например, одно маленькое удовольствие: кормить лошадей. Для этого она всегда носила в сумочке сахар. Как увидит на улице серого, слоноподобного, огромного першерона, сейчас подойдет к нему и безбоязненно протянет ему на плоско вытянутой маленькой розовой ладони кусок сахара. И добрый серый великан бережно нащупывает мягкими дрожащими губами белый кусок, возьмет, захрустит и отвешивает головой низкие поклоны. Тогда Мария, не глядя на меня, протягивала мне руку, и я должен был старательно вытереть ее носовым платком.

Эта забава всегда была для меня очень приятной. Но вот однажды, когда Мария, по обыкновению, подошла к лошади с сахаром, я ни с того ни с сего заартачился. Видишь ли, забава эта вдруг показалась мне слишком детской и, пожалуй, даже неприличной. «На нас смотрят!» И я сказал:

– Мария, я бы на твоём месте так не рисковал. У лошадей часто бывает сап. Легко можно заразиться.

Она быстро, удивленно взглянула на меня и бросила сахар.

– Хорошо, Мишика, ты прав. Я не буду больше.

И с тех пор она никогда не подходила к своим серым любимцам.

Потом вышел ещё случай. Надо сказать тебе, что она никогда не подавала профессиональным нищим, но всяких уличных певцов, музыкантов, фокусников, чревовещателей, акробатов и других бродячих артистов одаривала не по заслугам милостиво.

И вот однажды мы увидели на каком-то окраинном бульваре полуголого атлета в рваных остатках грязного трико. Он стоял на разостланном дырявом ковре, широко расставив ноги, растопыря опущенные руки, склонив воловью шею, и тупо глядел в землю. Железные гири, тяжёлая наковальня, огромные дикие камни и кузнечный молот валялись около него. Собралась небольшая толпа ротозеев и безмолвно разглядывала силача и его тяжести. Щупленький, вороватого вида человечек в морском берете с красным помпоном, стоя посередине, выхвалял атлета: «Чемпион мира, король железа, мировые рекорды, почётные ленты и золотые пояса; личное одобрение принца Уэльского, орден льва и солнца!..»

Потом он останавливался на минуту, обходил круг зрителей с тарелкой, в которую скупо брякали медные и никелевые су, и опять принимался звать почтенную и великодушную публику.

– Подойдем поближе, – сказала Мария.

Я поморщился:

– Дитя мое, что ты находишь здесь интересного? Здоровенный детина, которому лень работать, ломается перед бездельниками. И какая тупая морда у этого ярмарочного силача: наверное, прирожденный взломщик и убийца.

О, черт бы меня побрал! Откуда вдруг явилось во мне это благоразумие, эта брезгливость, эти гражданские чувства? Никогда раньше я в себе их не находил. Мария сказала:

– Пожалуй, ты прав, Мишика. Мне просто его жаль. Пойдем отсюда.

Но, прежде чем уйти, она быстро скомкала синюю кредитную бумажку и кинула ее в середину круга на ковер. Зазывальщик быстро ее подхватил и, отвесив Марии шутовски низкий поклон, закричал:

– Благодарю вас, бесконечно благородная дама, столь же прекрасная, сколь и великодушная. Дамы и господа, следуйте доброму примеру очаровательной герцогини!..

Вдобавок он еще послал нам обеими руками воздушный летучий поцелуй.

Я заторопился:

– Уйдем, уйдем поскорее. На нас смотрят.

Мне показалось, что она вздохнула... Или, может быть, зевнула?

Ах, милый, я наделал в эту пору глупостей и пошлостей без конца.

У нее, например, были свои «розовые старички». Так она называла те семьи, где осталось только двое стариков – муж и жена. А остальные перемерли или разбрелись по свету. Так и доживают старички свой век: оба седенькие, оба в одинаковых добрых морщинах, оба постарчески розоватые и крепкие и трогательно похожие один на другого.

У Марии было две парочки таких «розовых старичков», у которых и деды и бабки были рыбаками и рыбачьими женами. Жили они в старом порту, и Мария нередко их навещала, всегда принося с собою подарки: теплые вязаные вещи, табак, ром от застарелых морских ревматизмов, кофе, чай и фрукты. Часто она брала меня с собою, и помню, с каким теплым удовольствием слушал я прежде ее неторопливую, умную и ласковую беседу со стариками, когда она сидела по вечерам у огня с какой-нибудь ручной работой на коленях. У нее был редкий дар доброго внимания, которое так естественно и мило располагает пожилых людей к любимым дальним воспоминаниям, о которых память еще свежа, а ненужные мелочи давно отпали.

Никогда она не уставала внимать этим морским наивным повестям – пусть уже не раз повторяемым – о морской и рыбацкой жизни, о маленьких скудных радостях, о простой безыскусственной любви, о дальних плаваниях, о бурях и крушениях, о покорном, суровом приятии всегда близкой смерти, о грубом веселье на суше. От этих рассказов чувствовалась на губах соль: соль морской пены, соль вечных женских слез и соль трудового пота.

О, Мария, как ты любила эти бесхитростные рассказы. Недаром в тебе текла напоенная озоном кровь морских волков, флибустьеров и адмиралов, а в моих жилах течет медленная кровь сухопутного интеллигента!

Однажды я отказался сопровождать ее к «розовым старичкам», оправдываясь спешной работой. В другой раз отказался уже без всякого повода. Просто сказал, что мне не хочется.

– Они тебе не нравятся, Мишика, мои «розовые старички»?

– По правде сказать, не очень. Всегда одно и то же. Скучно. Да и не особенный я любитель моря, и морских рассказов, и морских стариков.

Ее нижняя губа нервно вздрогнула. Я понял, что Мария обиделась. Не на мою грубость, не за себя, а за своих «розовых старичков».

– До свидания, Мишика, – сказала она сдержанно.

Сказала и ушла.

Глава XIII

Белая лошадь

Она сказала «до свидания», встала с персидской оттоманки и ушла быстрыми, легкими шагами.

Я думал, что она вскоре вернется, чтобы объяснить мне причину этого внезапного и резкого прощания. Я сидел и ждал. Она медлила, а я молча вспенивал, взвинчивал в своей душе ненависть. В этом мелком, беспричинном и бессмысленном озлоблении я уже готовил ей новые, ядовитые обиды. Я собирался высказать ей грубо мое мнение о ее благотворительных экранах и вообще о ее кустарной филантропии: «В основе все это ложь, фальшь и лицемерие. Это нечто вроде копеечных Евангелий, приносимых старыми английскими девами в тюрьмы и публичные дома; взятка Богу; свеча, поставленная перед иконой неумолимым ростовщиком, страховка трусливого богача против будущего народного гнева, а в лучшем случае, – это всего лишь детская клистирная трубка во время пожара...»

Я еще хотел рассказать ей об одной жестокой сцене, происшедшей между Львом Толстым и Тургеневым и чуть не доведшей их до дуэли. Во всяком случае, после нее великие писатели остались надолго врагами. Во время завтрака у Толстых Тургенев с неподдельным восхищением говорил живописно о том, как английская гувернантка приучает его побочную дочку, Полину, к делам благотворительности.

– Каждое воскресенье, – умиленно говорил Тургенев, – они обе идут на самые жалкие окраины города, в хижины нищих, в подвалы бедных тружеников, на чердаки горьких неудачников... И там обе они смиренно и самоотверженно занимаются целый день починкой и штопкой их убогого белья. О, как это трогательно, прекрасно и просто. Не правда ли?

Тогда Толстой вскочил из-за стола, стукнул кулаком и воскликнул:

– Какое лицемерие! Какое ханжество! Какое издевательство над нуждой!

Тургенев ответил жестким словом и выбежал из дома. Дуэль едва-едва удалось предотвратить.

Но это не все. В душе моей кипели ревность и обида. Я готовился упрекнуть Марию ее всегдашним влечением к простолюдинам, к плебсу, к морским и уличным бродягам, к первобытной силе, к грубому здоровью, к чему всегда тянет пресыщенных женщин, как тянуло, например, гордых римских матрон...

Но Мария не приходила... Друг мой! Она так и не вернулась... Не вернулась никогда. Послушай меня – никогда!

У меня хватило мужского самообладания: я одолел в себе страшное желание постучаться к ней в комнату. Я решил поехать к себе на завод. Завтра вечером, думал я, она заедет за мною. Тогда мы объяснимся. Может быть, я был не прав перед нею? Я могу извиниться. Женщинам надо прощать их маленькие причуды. А не приехать она не может. Это сверх ее сил. Любовь ее ко мне – это даже не любовь, а обожание.

С такими мыслями я проходил в переднюю мимо царственного, великолепнейшего павлина, переливавшегося всеми прелестными оттенками густо-зеленых и нежно-синих красок. Вдруг меня качнуло мгновенное головокружение, и я остановился перед экраном, чувствуя, по сердцебиению и по холоду щек и губ, что бледнею. В памяти моей вдруг пронеслись недавние слова Марии:

– У павлина нет ничего, кроме его волшебной красоты. Это существо надменное, мнительное, глупое и трусливое да вдобавок с пронзительным и противным голосом.

– Черт возьми! Не обо мне ли это сказано? Хорошо еще, что красотой я не блещу.

И очень поспешно сбежал я с винтовой дубовой лестницы.

Но на другой день моя влюбленная Мария не захала и не дала ничего знать о себе и на третий день.

На четвертый день я, совсем унылый, робкий, покаянный, решил пойти на Валлон д'Ориоль. Сам себе я казался похожим на мокрого, напроказившего пуделя или на недощипанного петуха.

Мне отворила дверь эта проклятая змея Ингрид, эта бешеная колдунья. Я вошел в ателье и спросил:

– Дома ли мадам Дюран?

– Мадам Дюран уехала три дня назад. Но она приказала мне быть в вашем распоряжении.

Я спросил ехидно и сердито:

– Она мне подарила вас?

– Совершенно верно. Подарила до вашего или до ее распоряжения. Итак, господин, я готова вам служить.

Я ответил:

– Я нуждаюсь в вас, сударыня, менее, чем в ком бы то ни было на свете. Скажите мне ее адрес.

– Если бы я и знала его – все равно я бы не сказала вам.

И какие дерзкие, какие ослепительно гневные глаза выпятила на меня эта белокурая дьяволица, эта маленькая, никогда не доступная моему пониманию помесь ангела с чертенком!

– Вы свободны! – так я крикнул ей и побежал. На бегу мелькнул мне боком в глаза блистательный павлин. От злобы и отчаяния, душивших меня, я невольно, но очень громко хлопнул дверью, и когда лестница вся загудела, я успел расслышать голос маленького чудовища:

– Imbecile!¹¹

Мария по-прежнему не давала о себе знать. Наконец недели через две я получил от нее письмо.

«Милый Мишика, благодарю тебя за то великое счастье, которое ты мне дал. Все это время я думала о тебе, о себе и о нашей любви. Бог знает каких усилий мне стоило, чтобы не сорваться, не полететь к тебе первым попавшимся поездом. Наконец я поняла, что нам нельзя жить ни вместе, ни близко друг от друга. Что-то есть в нас такое, что постоянно разъединяет нас и мешает нам жить в полном счастье, а всякие поправки, всякие новые пробы и испытания повлекли бы новую и все более сильную вражду. Пишу тебе из маленького городка „Белая Лошадь“. Я ошиблась, когда воображала его в таком поэтическом и величественном виде. Здесь почти две тысячи жителей, английские отели, проводники, живописные виды, фотографии и даже лаун-теннис. Завтра я покидаю Европу. Мы больше не встретимся, и мой дружеский совет – забудь обо мне совсем и как можно скорее.

Прощай. Целую тебя.

Твой друг Мария».

И постскриптум:

«Я знаю, ты некорыстолюбив и горд, но если тебя постигнут нужда или несчастье, обратись от моего имени к директору завода г. Ремильяк. Он охотно придет тебе на помощь.

М.».

Вот так-то все кончилось, мой старый дружище... Ничего... Я покорен велениям судьбы... Колеса времени не повернешь обратно... Живу по инерции. Но одна, одна мысль не дает мне

¹¹ Дурак! (*фр.*)

покою: почему я не умел любить Марию так просто, доверчиво, пламенно и послушно, как любил ее матрос Джиованни, этот прекрасный суперкарго? Да! Из разного мы были теста с этим итальянцем.

Или в самом деле меня сглазил проклятый павлин?

(1929)

Жанета

I

В юго-западном углу Парижа, в зеленом нарядном Passy, в двух шагах от Булонского леса (стоит только перейти по воздушному мостику над полотном окружной железной дороги), на самом верху шестиэтажного дома живет старый русский профессор. Чердачная мансарда его длинна и узка; к дверям – немного пошире; потолком ей служит покатая крыша дома; в общем, она, по мнению ее обитателя, похожа видом и размером на гроб Святогора, старшего богатыря. Единственное ее окно сидит глубоко в железном козырьке.

Профессор Симонов живет с простотою инока. Вся его мебель: раскладная парусиновая кровать военного образца, деревянный некрашенный стол, две такие же табуретки, умывальник с кувшином и ведром и старозаветный чемодан, весь испещренный разноцветными путевыми ярлыками. Стены оклеены отвратительнейшими обоями в синие и желтые полосы; когда на них глядишь, то скашиваются глаза и кружится голова.

Профессор сам готовит для себя на спиртовке спартанские кушанья и кипятит чай, сам прибирает комнату, сам чистит платье и сапоги.

Но человек не может жить без роскоши (кроме изуверов и идиотов), и в этом, по мнению профессора, одно из важных отличий его от всех животных, за исключением некоторых диких птиц, чудесно украшающих свои гнезда. На подоконнике, в больших деревянных ящиках, всегда растут редкие яркие цветы. Он за ними внимательно ухаживает. Иногда можно застать его в те минуты, когда он тонкой кисточкой, бережно, как художник-миниатюрист, переносит желтую цветочную пыльцу из чашечки одного цветка в чашечку другого. Вид у него при этом сосредоточенный, губы вытянуты в трубочку, глаза сощурены в щелочки под косматыми рыжими бровями.

Он давно примелькался и хорошо известен в своем небольшом районе, ограниченном лавками: мясной, молочной, бакалейной, табачной, булочной и тем угловым бистро¹² мадам Бюссак, куда он изредка заходит выпить у блестящего жестяного прилавка стаканчик вермута пополам с водой. Все еще издали узнают его длинную худую фигуру, его развевающуюся на ходу серую клетчатую размахайку, носившую когда-то, в древние времена, название не то макфарлана, не то пальмерстона, его рыбачью широкою шляпу, насунутую так низко на брови, что из ее спущенных вокруг полей торчат спереди лишь конец крупного мясистого носа и огненная с сединой борода утюгом.

Прежде французские лавочники раздражались на профессора за его рассеянность, разводили руками, хлопали себя по бедрам, кричали свое нетерпеливое «alors!»¹³ и вообще пылили, но теперь по привычке и благодушно поправляют его, когда он забудет взять сдачу, заберет чужой сверток вместо своего или собирается уходить, не заплативши, – с ним такие мелкие ошибки случаются десять раз на дню. Он приятен тем, что в его обращении с людьми много независимости, легкости и доброго внимания. Совсем в нем отсутствуют те внешние черты унылости, удрученности, роковой подавленности, безысходности, непонятости миром – словом, всего того, что французы считают выражением «ам сляв»¹⁴ и к чему их энергичный инстинкт относится брезгливо.

¹² Ресторанчиком (от *фр.* bistro).

¹³ Ну, что же! (*фр.*)

¹⁴ Славянской души (от *фр.* L'âme slave).

Профессор входит в лавку. Левую руку протягивает через стойку хозяйину для пожатия, правой издали посылает приветствие хозяйке и бодро здоровается со всеми присутствующими:

– Мсье, да-ам!..

– Мсье! – произносит несколько голосов из-за газет.

Порядок непременно требует справиться у патрона: идет ли? Оказывается – идет. Теперь профессору нужно сделать самое неожиданное открытие:

– Но какой прекрасный день!

Или:

– Ах, какой дождь!

– О да! – убедительно подтверждает патрон и, в свою очередь, с неизменной улыбкой осведомляется у Симонова: – Тужур промнэ?¹⁵

Вот этого-то профессорского «тужур промнэ» французы никак не могут осмыслить, несмотря на всю их любезность к Симонову. Как это он позволяет себе прогуливаться и, по-видимому, совсем праздно – в часы, вовсе не приспособленные для прогулки. Каждый порядочный француз – а они все порядочны – отлично знает, что гулять можно только по воскресеньям. Поэтому в будни они если не сидят в своих лавках и бюро, то либо бегут в них, либо возвращаются бегом домой. В семь часов утра весь работающий Париж плескает себе в нос воду из умывального таза, в десять часов вечера каждый честный буржуа уже в постели.

Профессор же снует по улицам без всяких почтенных причин и утром, и днем, и поздно ночью. Это удивительно. Все-таки – ам сляв.

Профессор и сам понимал, что это удивительно. И чувствовал какую-то неловкость перед французами, чувствовал себя трутнем среди трудолюбивых пчел. Но как же мог он объяснить и оправдать свое уличное слоняние?

Сказать, что у него три урока в трех разных домах. Но французы совсем не имеют понятия о частных уроках. Какая блажь! Чтобы учиться – на это существуют прекрасные бесплатные коммунальные школы и великолепные лицеи. Какой же дурак будет выбрасывать деньги на частных учителей.

Объяснить им, что он пишет научные статьи и привык их обдумывать на ходу, да еще на очень резвом ходу. Между тем как на чердаке не очень-то разбегаешься?

Но они опять поднимают плечи до ушей и возразят:

– Alors!.. Наши инженеры сидят в своих ателье и думают определенное число часов в день. То же делают в своих бюро ученые, поэты, купцы, адвокаты. И все они думают обязательно сидя. Никто из них не позволит себе ради размышлений бегать по улицам, а если некоторые и допускают себя до подобного легкомыслия, то они сами виноваты, если их давят автомобили. Улица не для философов и рогозеев, а для пешеходов. Вуаля ту!¹⁶

«А ведь они правы», – думает с кротостью профессор. Он сам иногда переходит через улицу, позабыв обо всем на свете, кроме течения своих мыслей, и, когда над его ухом рявкнет оглушительно автомобиль, он так и затрепыхается от испуга и обольется холодным потом. Шофер, объезжая, поливает его черной руганью, а сердце потом колотится долго-долго.

¹⁵ Все прогуливаетесь? (От *фр.* Toujours promenez?)

¹⁶ Вот и все (от *фр.* Voilà tout).

II

Уроки и статьи в обрез обеспечивают его аскетическое существование, но для кафедры Симонов уже пропал. Он не потерял своего славного имени, но как бы растратил, расточил, размотал его. Пять-шесть старых коллег еще помнят его блестящие лекции в Москве на естественном факультете и в Петровско-Разумовской академии, по физике, органической химии и дендрологии.

У него были все возможности для того, чтобы стать звездой в ученом мире, но он не успел ни создать своей школы, ни написать хоть одной строго научной книги. Карьера его сникла и оборвалась по четырем причинам или, вернее, по четырем отрицательным свойствам ума и характера. Он не обладал настойчивостью в обработке мелочей. Он был лишен профессионального честолюбия. Он был неуживчив вследствие своей прямолинейности и гордости. Он не мог утолить своей яростной неутомимой жажды знания одним предметом или дисциплиной, он хотел знать все, что доступно человеческим умам, и даже больше.

Быстро загораясь и так же быстро охладевая, – о чем только он не писал замечательных докладов и прекрасных популярных статей. Где только он не читал образцовых по красоте и образности лекций. Каких только служб и профессий он не переменял, исколесив всю Россию от Владивостока до Мурмана и от Архангельска до Баку. Кто-то назвал его Дон Жуаном науки. Но он был и ее Дон Кихотом.

У него можно было навести справки обо всяком предмете, явлении, имени, событии. Но ум его не был лишь механическим хранилищем, кладовой знаний. Симонов обладал большим даром синтетического прозрения. Часто он говорил или писал в случайных статьях о будущих завоеваниях науки. И когда, спустя десятки лет, его летучие догадки находили твердо обоснованное научное подтверждение, он говорил добродушно:

– Я бродяга. Я бросал своих детей голыми на больших дорогах и шел дальше. Мне приятно видеть их теперь большими мужчинами, с густыми бородами, в золотых очках. Но родительской нежности к ним я не чувствую: любовь была слишком пылка и слишком скоропреходяща.

В 1885 году, исходя от греческих философов, он носился с теорией относительности. В 1889 году он доказывал, что человеческий мозг – электрическая батарея, непрерывно посылающая в пространство вибрирующие волны, которые, утверждал он, в недалеком грядущем будут улавливаться особо чуткими приборами. В 1893 году, будучи лесным ревизором Рязанской губернии, он вычерчивал и вычислял построение биплана со взрывным нитроглицериновым мотором. В 1901 году он разрабатывал проект аппарата, переносящего на расстояние зрительные изображения. В 1907 году он напечатал в одном английском ревью парадоксальную статью: о кажущемся беспорядке в строении видимого звездного мира, а также толкованиях апокалипсиса и тому подобное.

Профессор живет почти один. Когда-то была жена, были две дочери, был хоть и походный, как скиния, но любимый дом... И все это пошло, поехало кувырком... Не стоит о прошлом... Рана давно отболела. Остался в душе толстый, грубый рубец, который, подобно старческим ревматизмам в непогоду или пулевым ранам, дает о себе знать изредка, в бессонную ночь, когда всякие глупости лезут в голову.

Но все-таки он не так уж безнадежно одинок. Два года назад, зимою, дождливыми полусумерками, к нему в открытое окно пробрался с крыши полудикий кот – черный, длинный, худой, наглый, – настоящий парижский апаш кошачьей породы. Никогда еще в своей жизни не видал Симонов ни человека, ни животного, которые носили бы на себе такое несчетное количество следов бывших отчаянных драк.

Кот требовательно мяукал, распяливая свой рот в узкий ромб, яростно блестя пронзительными зелеными глазами, судорожно царапая когтищами край подоконника. Профессор поставил ему на стол блюдечко скисшего молока с хлебом и остатком жареной грудинки. Кот поел, муркнул что-то вроде небрежного «спасибо» и в один прыжок очутился снова на крыше.

На другой день он пришел днем. И не только погостил около часа; даже, с нескрываемой безгловостью, позволил слегка себя погладить. Потом зачистил. По целым дням спал, как собака, на голом полу, а вечером исчезал по своим темным и опасным делам.

Порою он не показывался по неделям и тогда приходил сильно потрепанным, часто хромым, с новыми шрамами, с разорванным надвое ухом. Симонов звал его Пятницей, и часто по ночам, когда наверху грохотала железная крыша и неслись к небу раздиравательные кошачьи вопли, он думал: «Это мой Вандреди¹⁷ там воюет».

Пожалуй, их отношения можно было бы назвать дружбой. В дружбе один всегда смотрит хоть чуть-чуть сверху вниз, а другой снизу вверх. Один покровительствует, другой предан. Один великодушно принимает, другой радостно дает. Первым был, конечно, кот. Это он нашел профессора, а не профессор его. В области перемещения в трех измерениях кот был несравненно щедрее одарен природою, чем профессор. Профессор уже устал от жизни, хотя продолжал любить и благословлять ее, – кот жил всей кипучестью одичавших страстей: любовью, драками, воровством, убийством. Кот знал и умел делать тысячу вещей, которые были совсем недоступны профессору.

Разве мог бы профессор поймать зубами хоть самого маленького мышонка. А кот однажды утром притащил в мансарду пойманную и задавленную им на улице огромную рыжую крысу, из тех злобных чудовищ, что живут в водосточных каналах и никого не боятся. Когда профессор отворил ему окно, он со стола бросил прямо на пол, к ногам слабого человека, труп побежденного врага. И столько было силы в черной окровавленной морде, столько гордости в глазах, то расширявшихся, то сжимавшихся от волнения, что Симонов совершенно серьезно шаркнул ножкой и сказал:

– Очень вам благодарен.

По происхождению своему кот был гораздо древнее профессора, чему есть неопровержимое доказательство в первой главе Библии. Кроме того, род кота был еще и знатнее: в те седые времена, когда предки его почитались, как священные животные, великим и мудрым народом, – прапращур профессора дрожал, голый, в пещере, слышал гром с неба и впервые, в потугах корявой фантазии, придумывал себе бога.

Иногда человек и зверь подолгу глядели в глаза друг другу: человек первый уступал перед суровым, пристальным, как будто бы видящим сквозь материю и время взором. Тогда и кот лениво сощуривал зеленые глаза и сокращал круглые черные зрачки в узенькие щелочки. Разве он унизился бы до борьбы с профессором взглядами. Он просто показал зазнавшемуся человеку его место во вселенной и сделал это со спокойным достоинством.

Но бывали изредка и минуты равенства, даже некоторого преобладания человека над зверем. Это случалось в душные вечера пред ночной грозой, когда неподвижные, набухающие облака свинцовеют и чернеют и воздух сухо пахнет, как при ударе кремня о кремь.

В такие дни кот приходил рано, возбужденный, тревожный, пересыщенный накопившимся в нем электричеством. Он то ложился, то вставал и бродил по темным углам, выпускал и прятал когти, кончик его облезлого хвоста коротко и нервно вздрагивал. А если профессор слегка проводил рукою по его спине, то вздыбленный мех трещал и сыпал голубые искры, пахнувшие морским ветром. Тогда жалостно тыкался кот носом в профессорские колени и беззвучно мяукал, широко и умильно раскрывая рот. Здесь человек пересиливал зверя.

¹⁷ Пятница (от *фр.* vendredi).

Иногда, во время прогулок по Булонскому лесу, Симонов замечал Пятницу где-нибудь в траве, за деревом, между кустами: вероятно, здесь были места его охоты за лесными мышками, птенцами и, ночью, за спящими птицами. Конечно, кот успевал увидеть профессора еще раньше, но, должно быть, под открытым небом он стыдился признаваться в своем знакомстве с ним.

Был у Симонова еще один приятель – пожилой художник, бывший когда-то его слушателем в Петровской академии. С ним вместе они, случалось, ходили по воскресеньям в обжорку на Ваграме, а иногда, утром или вечером, бродили по «Буа-де-Булонскому лесу», как называл его художник. Бродили и разговаривали. Профессор описывал вслух красоту природы, – художник помалкивал и посвистывал. Но когда живописец яро пускался в философию и политику – профессор молча отмахивался рукой.

III

Вчера, возвращаясь домой, профессор Симонов видел, как далеко за черными деревьями и кустами Булонского леса пламенели и тлели красные угли вечерней зари, а над лесом, по правую руку от Симонова, стоял серебряный обрезок молодого месяца.

«Месяц ясный, небо чистое, заря рдяная – значит, завтра будет ветер», – подумал профессор и, вынув из жилетного кармана франк, показал его заново отчищенному, блестящему серпику... Новая луна приходилась справа: к прибыли.

У него вовсе не было предрассудков, но он любил всякие старинные обычаи и привычки – пусть даже и вздорные, – как крепкое утверждение простого и полного быта. Он говорил иногда, что приметы идут впереди точного знания, а наука о душе – позади суеверия.

И правда, сегодня дует сильный северо-западный ветер. Отворив рано утром окно, чтобы выпустить черного кота, случайного ночлежника, на волю, Симонов увидел, как широко раскачиваются на той стороне улицы вершины диких платанов, и ясно почувствовал отдаленный, еле уловимый, кисловатый, волшебный запах океана. Жаль, что нельзя выходить из дома так рано, как хочешь. Это запрещено по неписаному договору с консьержкой, которая, кстати сказать, всегда услужлива и любезна с русским чердачным жильцом. Но однажды в разговоре с ним она как-то вскользь сказала:

– О мсье, мы не жалуемся на то, что нам, консьержкам, приходится отворять на звонки до глубокой ночи. Alors! Это маленькое неудобство нашей профессии. Но в утренние часы, так от трех до семи, – мой самый сладкий сон, и я очень огорчаюсь, если меня в это время беспокоят по пустякам.

Часов у профессора не было, то есть была старинная золотая луковица, но она временно гостила в другом месте и, несомненно, в дурном обществе. Профессор хорошо обходился и без часов, своими собственными отметами времени. Он знал, что в три часа хриплыми, мокрыми со сна голосами перекликнутся петухи, которых очень много водится во дворах просторного, провинциального Passy. Позднее, перед рассветом, начнут около домов чокать и посвистывать черные дрозды; с восходом солнца они улетят в лес и в скверы. В шесть – опять закричат, навстречу солнцу, уже совсем проснувшиеся, свежие, бодрые петухи. В шесть с четвертью пронесется, потрясая почву, первый поезд окружной дороги. В половине седьмого приедут мусорщики на длинном грузовике с железной полуцилиндрической крышкой. Забирая из выставленных на улицу ящиков и ведер всякую грязную дрянь, накопившуюся за сутки, они будут сипло и непонятно ругаться по-овернски и по-итальянски. В семь без четверти донесется изда- лека низкий, протяжный, трубный звук, и его тотчас же подхватит многое множество разно-голосых гудков и свистков. Это фабрики и заводы кричат рабочим: «Скорее! Скорее! Через контрольную будку! А то пропадет полдня и половина заработка». Они повоюют с полминуты и умолкнут. Наступит последний промежуток легкой и короткой тишины.

Профессор поднялся, всунул руки в крылья своей серой разлетайки, надел шляпу со сви-сающими, как у рыболовов, полями и стал ждать того странного момента, который на него всегда производил впечатление жестокого и могучего чуда и который можно наблюдать еже-дневно только из немногих окраин Парижа.

Сейчас ему казалось, что Париж набирает в грудь воздух, собирает мускулы, как гонец перед дальним бегом...

И вот вдруг огромный город, точно двинутый электрическим толчком, вышел мгновенно из утреннего оцепенения, раздохнулся и сразу весь вылился из домов на улицы, наполнив их тем сплошным, ни на секунду не прекращающимся гулом, который, привычно неслышимый для ушей, целый день висит над Парижем, так же как целую ночь стоит над ним в небе красно-желтое зарево от электрических огней; смешанным гулом, слитым из рева вздохов, стонов и

трескотни автомобилей, грохота телег и грузовиков, стука лошадиных подков, шарканья ног, звонков и завываний трамваев, множества человеческих голосов...

– Заворчал апокалипсический зверь, – сказал вслух профессор и стал спускаться по винтовой лестнице «для прислуги».

IV

По бульварам и улицам уже бежали девушки из молочных в белых передниках с раздутыми пышными рукавами, прихваченными в запястье кожаными браслетами. На каждой руке, на каждом пальце у них были нанизаны металлические дужки молочных бутылок; жидкое мелодичное позвякивание наполняло весь квартал. Ветер трепал и путал волосы над свежими, только что вымытыми розовыми личиками молочниц, и, глядя на них, профессор с удовольствием думал: «Как милы, как четки, как хороши люди в ясное утро, на воздухе... Это, вероятно, потому, что они еще не начали лгать, обманывать, притворяться и злобствовать. Они еще покамест немного сродни детям, зверям и растениям. Да, это славная истина: не потеряет тот, кто рано и в должный час выйдет из дома. И какой сладкой прохладой тянет из Булонского леса».

Симонов делал свои ежедневные скромные покупки. Купил хлеба в булочной на площади Ля-Мюетт (бонжур, мсье, да-ам), пшена, муки и соли в бакалейной (За ва? – За ва!¹⁸), четверть кило свиной грудины («Какой прекрасный день!» – «Но ветер». – «Вы, французы, всегда недовольны погодой. Ветер очищает воздух!»), зашел в мясную купить для Пятницы на пятьдесят сантимов бараньей печенки (Тужур промнэ, мсье?) и тотчас же, глядя на патрона, толстого, крепкого, полнокровного брюнета с малиновыми щеками, подумал: «А ведь это замечательно, что во всем мире самый цветущий вид у мясников, у колбасниц и у служащих на бойнях. Должно быть, это от постоянного вдыхания испарений здорового мяса, сала и крови. Будь я доктором, я вместо всяких вонючих пилюль и модных курортов посылал бы малокровных пациентов, этак на год, на службу в колбасную лавку».

Теперь фуражировка окончена; кот и человек обеспечены едою на сутки; расход не превысил четырех франков; следует идти домой, заваривать чай.

Но, не доходя четырех домов до конца улицы Renelagh, профессор вдруг останавливается, уткнувшись носом и рыжим клином бороды в железную решетку, ограждающую от улицы чей-то палисадник, прилипает к одному месту и так стоит неподвижно целых десять минут, с длинным хлебом под мышкой. Он немного затрудняет деловое, торопливое движение пешеходов на узком тротуаре, но к его странностям давно уже привыкли в этом квартале: кое-кто, проходя, пожмет плечами, растопыривши локти, другой, весело прищулив один глаз, кивнет головою, женщина пройдет и раза два неодобрительно обернется назад.

Между черным кружком решетки и столбом газового фонаря, всего на пространстве трех-четырех квадратных вершков, паук сплел свою воздушную западню, и от нее-то не может оторваться профессор, забывший в эти минуты о времени, о месте, о чае, который надо кипятить, и о коте, которого надо кормить.

Это плетение из тончайших в мире нитей представляет собою прелестную спираль, перетянутую расходящимися от центра радиусами, прочно укрепленными в местах соединений. Радужным бисерным сиянием отсвечивают на солнце почти невидимые нити. Наклонишь голову налево – радуги побегут вправо; наклонишь направо – они закружатся влево, блестя и ломаясь углами на перехватах.

По улице носится порывистый шальной ветер. Под его капризными ударами вся нежная паутиная постройка, сверкая радугой, вздрагивает, трепещет и вдруг упруго надувается, как переполненный ветром парус.

Весь захваченный почтительным восхищением перед этой великолепной живой постройкой, профессор комкает в кулаке рыжий утюг своей бороды.

¹⁸ Идет? – Идет! (фр.)

Самого архитектора не видно. Он, должно быть, очень мал или искусно спрятался. Какую громадную массу строительного материала вымотал он из своего почти невесомого тела.

Сколько бессознательной мудрости, расчета, находчивости и вкуса вложено сюда. И все это ради одного дня, может быть, одной минуты, ради ничтожной случайной цели.

«Как богата природа, – размышлял почтенный профессор, – с какой щедростью, с каким колоссальным запасом она одаряет все ею созданное средствами к жизни и размножению. На старом сибирском кедре до тысячи шишек, в каждой до сотни орешков, а конечная цель – всего лишь одно зернышко, случайно попавшее в земную колыбель, лишь один росток слабой жизни, которой грозят тысячи гибелей. Но зато и кедров не один, а миллионы, и живут они, ежегодно оплодотворяясь, многие сотни лет, и все кедры – порука за род.

В хорошем осетре – пуд икры, миллионы икринок, но конечная цель природы будет блестяще достигнута, если из этого количества зародышей вырастет хотя бы десяток рыб. Пара мух, если бы яички самки оставались неприкосновенными, расплодили бы за одно лето такое потомство, которое покрыло бы всю землю сплошь, как теперь ее покрывает человечество, разросшееся не в меру».

«Да, – думает профессор, – жизнь есть благо. Благо, и размножение, и еда. Но и смерть так же благо, как все необходимое. Мечта о человеке, который победит наукою смерть, – трусливая глупость. Микробам так же надо есть и размножаться и умирать, как и всему живущему.

И как разнообразно вооружила природа все существа для борьбы за жизнь. Панцири, клыки, жала, пилы, иглы, насосы, яды, запахи, самосвечение, ум, зрение, мускулы. Кто видел блоху под микроскопом, тот знает, какое это страшное, могущественное, невероятно сильное и кровожадное создание... Будь она ростом с человека, она перепрыгнула бы через Монблан и уничтожила бы в несколько секунд слона.

Или вот этот паучишко... Какой сильный ураган выдерживает теперь его прекрасная воздушная сеть. Ну разве можно хоть в малейшей степени сравнить это божественное сооружение с таким жалким и грубым делом рук человеческих, как Эйфелева башня, столь похожая в туманный день на бутылку от нежинской рябиновой? Во сколько раз Эйфелева башня тяжелее, прочнее и долговечнее легкой паутины? Это невысказанно высчитать, – получится число со столькими знаками, что их не упишешь в одну строку самым мелким почерком. Возьмем, однако, для простоты, скромный, ничтожный миллиард.

Положим, я обозначу то давление ветра, которое испытывает теперь паутина, четырьмя баллами, по метеорологическому исчислению. Тогда для того, чтобы Эйфелева башня испытывала то же самое давление ветра, как паутина, надо это давление увеличить пропорционально силе сопротивления башни, то есть до четырех миллиардов баллов. Это великолепно! Ветра силою в сорок баллов не может себе представить воображение человека. Ураган в четыреста только баллов в одно мгновение свалил бы Эйфелеву башню, как картонный домик, как здание из соломинок, и сбросил бы этот мусор в Сену. Нет! Он сдунул бы весь Париж и помчал бы его камни, его развалины на юго-восток. Он выплеснул бы всю воду из рек и разбрызгал бы моря по материкам. Да, уж конечно, не паук строит лучше инженера, но природа строит крепче и мудрее всех инженеров мира, взятых вместе, – природа – одна из эманаций Великого, единого начала, которому слава, поклонение и благодарность, кто бы оно ни было».

V

На этом месте своих отвлеченных размышлений профессор вдруг перестал комкать рыжую бороду. Уже давно, в то время как его сознательное «я» занималось построением пропорций, – его «я» подсознательное ощущало какое-то смутное беспокойство в правой руке. Профессор склоняет голову направо и вниз. Действительно, в его сжатой ладони спокойно лежала маленькая шершавая ручонка, а рядом с ним стояла девочка лет пяти-шести, ростом немного повыше его бедра. Как он мог не почувствовать этой детской лапки, прокравшейся в его руку? Впрочем, с ним бывали случаи еще более странные. В Гельсингфорсе он зашел однажды в парикмахерскую, где, обыкновенно через день, очень ловкая женщина-парикмахер обравнивала его бороду и подстригала волосы на щеках машинкой ОО.

Он ни разу в жизни не брился.

В этот день, садясь в кресло, он молча показал рукой на обе щеки и даже не заметил, что вместо знакомой парикмахерши над ним хлопочет какой-то новый мастер. Он и до сих пор помнит, какой предмет захватил тогда его внимание. Еще по дороге в парикмахерскую ему пришло в голову, что почти все человеческие лица, – особенно мужские, – можно при всем их кажущемся бесконечном разнообразии разделить по внешнему сходству на несколько сотен, а может быть, даже и десятков определенных типичных групп. И вот, сидя в кресле, повязанный по горло белым полотенцем, глядя прямо на свое отражение в зеркале и не видя его, он так увлекся вызыванием в зрительной памяти всех знакомых ему мужских физиономий, что совсем не замечал, как парикмахер опенивал мылом обе его щеки. Он опомнился только тогда, когда перед его глазами блеснуло губительное лезвие бритвы.

В тот самый миг, когда профессор увидел девочку, она тоже очнулась, отвела свой взгляд от паутины и устремила его вверх, в глаза странного, большого старого человека. Указательный палец правой руки еще оставался у нее во рту, прикушенный острыми белыми зубками, – известный знак напряженного внимания и удивления.

У нее был смуглый кирпично-бронзовый цвет лица; по его крепкому румянцу и золотому загару пестрели грязные следы размазанных слез и липкие, блестящие пятна от конфет. На ней был затрепанный балахончик ярко-канареечного цвета, что-то вроде мешка с пятью отверстиями для головы, голых рук и ног, очень тонких и светло-шоколадного цвета, в соломенном пуху. Прямые, жесткие, черные – в синеву – волосы падали ей на лоб и на виски, как у японской куклы. Впрочем, было нечто если и не японское, то все-таки восточное в ее черных сладких глазах, нешироких и прорезанных чуточку вверх от переносья. У нее был длинный, но красивый рот, всегда сложенный как бы в полукруглую улыбку, немного козьего рисунка, с очень сложным выражением доброты и лукавства, застенчивости и упорства, ласки и недоверия.

Тут только девочка и сама заметила, что ее рука нечаянно попала в плен. Ни дети, ни молодые домашние животные не переносят, когда их члены лишены свободы. Миленькие обезьяньи пальчики вдруг все пришли в движение. Они стали точно крабом или большим жуком со множеством лапок, и эти лапки начали упираться, отталкиваться, изворачиваться, пока, наконец, не вывинтились на свободу из кулака.

– Как ваше имя, прекрасное дитя? – спросил Симонов.

– Жанет, – ответила девочка и, показав головой на паутину, сказала: – Это очень красиво!

Не правда ли?

– Очень красиво.

– Кто это сделал?

– Паук. Такое насекомое.

– Зачем сделал?

– Чтобы ловить мух. Летит маленькая мушка и не замечает этих ниточек. Запуталась в них, не может никак выбраться. Паук видит. Пришел и съел мушку.

– А зачем?

– Потому что он голодный. Хочет есть.

– А он большой? Где он?

– Подожди, я попробую его позвать.

Профессор роется в карманах разлетайки, наполненных тем мусором, которым всегда полны карманы рассеянных мужчин, лишенных зоркого женского досмотра, достает измятый обрывок бумажки и, выждав короткую передышку ветра, начинает нежно щелкать ее уголком нити паутины. Из-за черного железного прута медленно высовываются две тонкие ножки, коленчатые ножки паутинного цвета, за ними виднеется что-то бурое, мохнатенькое, величиною чуть побольше булавочной головки. Профессор и Жанета переглянулись. Лица у них сосредоточены, как у двух соучастников важного дела, требующего особой осторожности. Но паук, тоже не торопясь, складывает свои ножные суставы и втягивает их назад.

– Ушел, – шепчет профессор.

– Да-а. Он – хитрый. Он увидел, что это мы, а не муха.

– Где же ты живешь, Жанета?

– Здесь и там.

Она указывает пальцем сначала на соседний дом, потом вдоль улицы на газетный киоск и поясняет:

– Здесь мы спим, а там продаем газеты.

– Почему же я тебя раньше не видел?

– Я была в деревне. Только вчера приехала. Но вас я давно знаю, еще до деревни. Вы очень смешной.

– Много благодарен. Пойдем, дитя мое, со мной, я куплю газету.

Он берет ее за руку. Теперь ручка девочки доверчива, но живые пальцы не могут не шевелиться и не подрагивать: так много в них электрического чувства свободы.

Газетный киоск втиснулся между забором железной дороги и перекинутым через нее воздушным мостиком. Это – деревянная будочка с квадратным оконцем и наружным прилавком, на котором газеты лежат стопками, прихваченные сверху, чтобы не развеял ветер, свинцовыми полосами. Коричневых стен киоска почти незаметно из-за множества покрывающих их иллюстрированных журналов, сцепленных между собой деревянными прачечными защипками. По обе стороны прилавка – два ящика с покатыми стеклянными крышками. В них различный мелкий товар для подсобной грошовой торговли: иголки, булавки, катушки, мотки шерсти, наперстки, шпильки, кружки ленточек и тесьмы, карандаши, вязальные крючки, блокноты, пуговицы роговые, деревянные, костяные, наконец, конфеты в фольге, в бумажках и простой леденец. Внутри домика есть переносная железная печь с плитой. Над крышей высится коленом черная жестяная труба. Когда из этой трубы валит дым, Симонову кажется, что вот-вот киоск-вагончик засвистит и вдруг поедет.

К киоску прислонена, загромождающая тротуар, детская клеенчатая, сильно подержанная коляска с откинутым верхом, в каких возят годовалых детей. Вся она полна разной игрушечной, отслужившей свой век инвалидной рухлядью. Тут и плюшевые мишки, и коричневые суконные обезьянки с глазками из черных бисеринок, и рыжие курчавые пудели, и головастые разноглазые бульдожки, и дырявые слоны из папье-маше, и множество полуодетых и вовсе голых кукол, иные без волос и без носов, иные с вылезшими наружу паклевыми и стружковыми внутренностями.

– Очень хорошо, не правда ли? – шепнула ему Жанета.

– Великолепно!

– Это все мое.

– О!

Надо было что-нибудь купить. Заманчиво кинулся в глаза иллюстрированный сельскохозяйственный журнал большого формата, довольно толстый, с двумя серыми гривастыми мохноногими орденами на голубоватой обложке. Но устрашала цена в два франка пятьдесят сантимов. Газет он не читал, ни русских, ни иностранных. Газеты, говорил он, это не духовная пища, а так, грязная накипь на жизни-бульоне, которую снимают и выбрасывают. По ней, правда, можно судить о качестве супа, но я не повар и не гастроном. А если произойдет нечто исключительно важное, то все равно кого-нибудь встретишь – и расскажет. Газеты тем и сильны, что дают людям праздным, скучным и без воображения на целый день материал для пересказа «своими словами». Пришлось взять листок с первой попавшейся стопки – оказался «Journal des Débats». Когда он расплачивался, маленькая жесткая ручка убежала и больше не вернулась.

Профессор начал было рассказывать о пауке, но у него не вышло... Газетчицу интересовали не пауки, а сантимы, и она не слушала. Это была небольшая, полная, еще цветущая женщина, с значительной долей еврейской или цыганской крови в жилах, далеко не такая смуглая и черноволосая, как Жанета, и совсем на нее не похожая. Общее у них было только в рисунке рта, но не в выражении. Глядя на беззастенчивый рот матери, казалось, что она недавно крепко поцеловалась с мужчиной, и опухшие губы по забывчивости еще сохранили форму поцелуя.

Кроме того, что она, как и все французы, была очень нетерпелива, – она бывала еще груба со своими клиентами и нередко покрикивала на них. Особенно доставалось от нее ее ami¹⁹, – должно быть, слесарю, механику или водопроводчику, судя по лицу, всегда перепачканному глянцевиной гарью. Она держала его в строгости. Но в воскресенье, расфранченные, они прогуливались по лесу, присаживаясь на скамейках, несмотря на публику, обнимались с той свободной откровенностью, какая повелась в Париже со времен войны.

– До свиданья, мадам, – сказал профессор. – Ваша Жанета очаровательный ребенок.

Газетчица почти рассердилась.

– О, вовсе нет, мсье, вовсе нет. Она – дьявол.

– Мадам, разве можно так про ребенка?

– Я вам говорю, что она дьявол. Она злая, она очень злая... Она дьявол.

И вдруг без всяких переходов:

– Поди ко мне, поди скорее, моя крошка.

Когда Жанета протиснулась к ней через узенькую боковую дверцу, она посадила ее на свои колена, притиснула к своей пышной груди и стала осыпать бешеными поцелуями ее замурзанную мордочку, а в промежутках ворковала стонущим, нежным, голубиным голосом:

– О мой цыпленок, о мой кролик, о моя маленькая драгоценная курочка, о моя нежно любимая!

«А через три минуты она опять ее за что-нибудь нашлепает, – подумал, уходя, профессор. – Такие страстные, нетерпеливые матери – только француженки и еврейки».

Черный кот встретил Симонова странно-холодным и точно недружелюбным взглядом. «Это оттого, – подумал профессор, – что я опоздал». Кот съел свою порцию грудинки с необыкновенной жадностью и быстротой. Но, окончив еду, он не лег, против давнишней привычки, на полу, в золотом теплом солнечном луче. Он тяжело прыгнул на стол, выгнув спину вверх, по-верблужьи, и пронизательно, с яростной враждой уставился большими зелеными глазами в глаза профессора.

– Ты что, брат Пятница? – Профессор нагнулся, чтобы его погладить, и протянул руку. Но кот не позволил. Он злобно фыркнул, мгновенно повернулся к человеку задрытым кверху хвостом и в два упругих прыжка очутился на карнизе и на крыше.

– Сердится, – сказал смущенный профессор и мотнул головой. – Но за что?

¹⁹ Дружку (фр.).

Проходят день и ночь. Наступает мутное и сухое утро. В полдень Симонов смотрел на флюгер чужой виллы. Стрелка его ни на мгновение не оставалась в покое. Она капризно, с разными скоростями вертелась то по солнцу, то против солнца, по всем тридцати двум румбам. В четыре пополудни стало жарко.

– Ну и здоровенная же будет нынче гроза, – сказал самому себе вслух профессор, выходя из дома. – Ого, уже начинается.

И правда: людям и животным не хватает воздуха. У них сохнут губы, языки и горла и кровью набухают затылки. Порывистый, изменчивый южный ветер сирокко не приносит облегчения, а только обдаёт на мгновение огненным дыханием, летящим из Сахары.

Сорванные с пешеходов соломенные шляпы, котелки и фетры катятся ребром по пыльной мостовой, а за ними козлом скачут люди с развевающимися полами пиджаков. Безобидно смеются зрители. Смеются и сами пострадавшие, крепче натягивая шляпы на затылки. Зонтики с треском выворачиваются спицами вперед. Женские юбки тюльпанами вздымаются вверх или вдруг тесными морщинами облипают груди, животы, бедра и ноги. Женщины идут против ветра, нагнувшись, низко склонив головы, прихватывая левой рукой шляпку, а правой непослушные легкие одежды.

В Булонском лесу этот взбалмошный ветер раскачивает, треплет, рвет и ерошит старые, могучие, шумящие деревья и крутит их шипящие от злобы вершины, как половые метлы. Он то заголит всю листву на светлую изнанку, то внезапно перевернет ее на темное лицо, и от этой размашистой игры весь лес то мгновенно светлеет, то сразу темнеет. И весело переплетаются в листве, на зелени газонов, на желтом песке дорожек узорчатые подвижные пятна золотого солнца, голубого неба и дрожащих теней.

Под широким шатром могучего разлатого каштана, лицом к ветру, сидит человек в сером балахоне, так низко опустивший грудь и голову, что проходящим, из-под его рыбачьей шляпы, виден только кончик его огненно-рыжей седоватой бороды. Этот кончик он иногда задумчиво пощипывает двумя пальцами, иногда рассеянно сует в рот и пожевывает. Прохожие с легкой улыбкой замечают также, что порою этот большой, живописный старик вдруг то ударяет себя кулаком по колену, то пренебрежительно пожимает плечами и резко вскидывает голову, то гневно стукнет палкой по земле: дурные привычки людей, умеющих думать не поверхностными, случайными обрывками мыслей, а глубоко и последовательно.

Но прохожим только так кажется, что здесь, на зеленой скамейке, сидит всего один человек. Им ни за что не догадаться, что близ них ведут бестолковый и неприятный семейный разговор два совершенно разные существа, неразрывно спаянные в одном человеческом образе. Первый – профессор химии, физики, ботаники, физиологии растений, ученый лесовод и лесничий, дважды доктор *honoris causa*²⁰ европейских университетов, вечный старый студент, фантазер, непоседа, святая широкая душа с неуживчивым характером, бессребреник и ротозей. Другой – просто Николай Евдокимович Симонов и больше ничего, человек, каких сотни тысяч, даже миллионы на свете. Николай Евдокимович знает очень и очень многое. Ему, например, известно, что в ожидании дождя порядочные люди берут с собою зонтики, выходя на улицу, что, возвращаясь поздно ночью домой, надо непременно без грохота затворять за собою входную дверь, что лестницы для того обнесены перилами, чтобы за них держаться, что каша, сало, чай, квартира и прачка требуют оплаты, что автомобиль на крутом повороте способен свалить с ног замечтавшегося зеваку. И еще бесконечное количество подобных умных и полезных законов. Наконец, как важнейший параграф домашнего катехизиса, он исповедует строгую истину о деньгах. Деньги чеканятся круглыми для удобного ношения в кошельках, а вовсе не для того, чтобы легче было пускать их ребром катиться по свету, и наоборот: им придана плоская

²⁰ Ради почета (*лат.* выражение, означающее получение ученой степени без защиты диссертации).

форма, дабы красивее было их складывать в стопочки перед тем, как, пересчитав, отнести в солидный банк.

Профессор неохотно прислушивается к премудростям Николая Евдокимовича и свысока презирает их, как временные и скучные. Николай Евдокимович осуждает щедрость, безалаберность и глупую доброту профессора, ворчит, кряхтит, журит его и даже позволяет себе иногда осторожно поехидничать. Профессор говорит ему «ты», как раньше говорил престарелому сторожу, служившему тридцать лет при лаборатории. Здесь старая привычка, ласковая фамильярность, покровительственная интимность... Николай Евдокимович говорит «вы» и «господин профессор» с оттенком бережной заботы и почтения, но иногда и с поучительностью старой привязанной няньки.

Сидят теперь оба в Булонском лесу, на железной зеленой скамейке, и ведут беззвучный разговор, и временами профессору кажется, что беспокойные деревья с трепетом прислушиваются к этой беседе и принимают в ней тревожное участие.

VI

Профессор вытягивает перед собой небольшую, но мясистую ладонь правой руки, всю исчерченную, изрезанную, изморщенную множеством переплетающихся линий, бугров и трещин. Такая рука, вылитая в бронзе, есть только у Бальзака, в музее его имени в Париже, на улице *Rapouard*, рука великого человека, все знавшая, все испытывавшая, все ощупавшая, все испробовавшая, все измерившая и взвесившая и тем не менее прекрасная и живая даже в металле.

Профессор Симонов любит Бальзака больше всех иностранных авторов и нередко посещает его скромный музей. Но ему и в голову никогда не приходило сличить его руку со своей. Всего больше в этом простом и маленьком хранилище занимает профессора висящая на стене рамка, в которую вставлен четырехугольный лист ватманской белой бумаги с красивой надписью, сделанной самим Бальзаком:

Ici

Un

*Rembrandt*²¹

Эта наивная любовная надпись всегда умиляла профессора почти до слез, а потому он никогда не брал с собою в музей скептического и слишком земного Николая Евдокимовича.

Профессор долго и внимательно смотрит на свою бальзаковскую ладонь, слегка улыбается нежной старческой улыбкой и беззвучно говорит:

– Вот здесь, вот именно здесь, заблудилась ее крошечная, так мило жесткая и грязная ручонка. И как она потом нетерпеливо карабкалась, чтобы выбраться на свободу. Ну совсем точно маленький, вольный, подвижной зверенышек. О, чего же стоят все утехи, радости и наслаждения мира в сравнении с этим самым простым, самым чистым, божественным ощущением детского доверия.

Чтобы яснее вызвать образ маленькой чумазой Жанеты, профессор на минуту плотно зажмуривает глаза и вдруг слышит язвительное ворчание Николая Евдокимовича, этого вечного брюзги, нестерпимого указчика и надоевшего близнеца:

– Ах, господин профессор, господин профессор. Сколько мы с вами за нашу долгую жизнь рассыпали фантастических глупостей по всем долготам и широтам земного шара. И вот, извольте: на почтенном закате дней своих вдруг взять и ошалеть от восторга при виде какой-то грязной, замурзанной шестилетней уличной девчонки, похожей на желторотого птенца. Вот уже третий день идет, как мы крутимся около газетного киоска и без толку покупаем утренние, дневные и вечерние журналы в надежде вновь увидеть, хоть мельком, измазанную детскую мордашку и поймать ее лукавую улыбку. И на свою правую ладонь мы не устаем смотреть с блаженным умилением буддийского святого, взирающего на свой пупок.

Ну да – все это мило, хорошо и трогательно, тем более что вы человек с душою абсолютно, химически, чистой. Но согласитесь, господин профессор, с тем, что наше буколическое

²¹ Здесь Рембрандт (*фр.*).

увлечение, пожалуй, может показаться нелепым и смешным, если на него посмотреть со стороны зорким и скептическим взглядом.

– Ну и пусть кажется. Какая мне забота до дураков и бездельников и до их свинского воображения? Мои годы, мои седины, моя безукоризненная жизнь – вот моя порука! Свиньей, вроде тебя, мрачной и гнусной свиньей, будет тот, кто усмотрит грязь в том, что меня чуть не до слез умилила эта забавная, чудесная, славная девчурочка. И все тут. Баста!

«Все тут, и баста, все тут, и баста», – шипят качающиеся, переплетающиеся ветви.

Николай Евдокимович сдаётся:

– Да ведь я что же, господин профессор? Я оскорбительного для вашей чести ничего не говорю. Я только хочу сказать, что у каждого народа есть свои нравы, обычаи, навыки, суеверия и приметы, которые куда как мощнее писаных и печатных законов. И вот тут-то иностранцу, да еще бездомному эмигранту, укрывшемуся от позора и смерти под дружеским, верным и сильным крылом, должно с этими неписаными адатами обращаться как можно осторожнее и деликатнее.

– Перестань, старая шарманка, – раздраженно восклицает профессор, и трепещущие листья повторяют за ним: «Старая, старая шарманка!» Но давнишний лабораторный служащий не сдаётся.

– Да вы же сами помните, господин профессор, как вы выразили перед хозяйкой киоска свой милый восторг перед ее очаровательной дочкой Жанетой. И как она в ответ на это зачехталась? В ее чертыхании вовсе не было зла против вас или Жанеты. Нет, здесь заговорила бессознательная, инстинктивная, многовековая память о борьбе со злыми ларвами в языческие времена и с мерзкими кознями дьявола в эпоху первого, грубого христианства. Эта почтенная женщина, видите ли, услышав вашу горячую похвалу ее дочке, бессознательно испугалась, – а вдруг у вас дурной глаз. А вдруг вы Жанету сглазите. А вдруг дьявол услышит вашу искреннюю похвалу милой девчурке и от злой ревности возьмет и испортит ее: сделает ее кривобокой, или наведет на ее лицо какую-нибудь гадкую сыпь, или скосит ей глаза. А что касается дурного глаза, то разве не вы сами, господин профессор, девять лет назад поместили в одном теософском английском журнале полунаучную, полумистическую статью под псевдонимом «Немо», в которой интересно и весьма обстоятельно доказывалось, что из множества эманаций, выделяемых человеческим организмом, едва ли не самыми мощными флюидами являются флюиды, излучающиеся из человеческого зрачка, столь близко расположенного к мозгу. Через глаза передаются гипнотические волны, и не зрение ли, соединившись с воображением, тклет глубокой ночью цветистые, многообразные сны? И наконец, вовсе не выдумка безответственных романистов (как вы сами говорили) способность человеческих глаз к удивительным световым эффектам. Да, действительно, глаза человека, в зависимости от душевных эмоций, могут сиять, блестеть, вспыхивать молнией, жечь, пронизывать, наводить ужас и повергать ниц. И эту чудесную силу их открыли еще бог знает в какой глубокой древности всё видевшие, всё замечавшие и запоминавшие народы, самые наименования которых стерлись из истории, но которые оставили после себя несокрушимые устные предания. Романисты только ограбили неведомых предков без пользы для себя, между тем как у спокойного простонародья старая мудрость и великий опыт сохранились в темных приметах и суевериях. Вот и спрашивается теперь, господин профессор: правы ли вы были, рассердившись на экспансивную мамашу вашей ненаглядной Жанеты?

Профессор ударяет железным наконечником палки по дорожке, и гравий визгливо хрустит.

– Замолчи, несчастный попугай, собиратель старой рухляди, умеющий только превращать в ходячую пошлость все, до чего коснется рука твоя.

Ветер становится все более тяжелым и упругим. Дышать трудно даже в обильном зеленом лесу. Огромные, старые, вековые деревья, когда-то видевшие под своею сенью Виктора

Гюго, Альфреда Мюссе, Бальзака и обоих Дюма, недоверчиво и устало поскрипывают и недовольно кряхтят. Небо потемнело, и по нему быстрыми взмахами летят группы странно больших, черных, зловещих птиц. Во всей природе какое-то мрачное ожидание. Профессора томит приближающаяся буря. А тут еще этот неутомимый филистер, скучный хранитель буржуазной морали, этот вечный суфлер и наставник, двойник, с которым никогда не расстанешься и который всегда будет тащить свободную душу профессора по истоптанным путям спасительной боязни, благоразумного умалчивания, политичного воздержания, всегдашнего согласия с большинством, повторения ветхих, заплесневелых истин, казенных улыбок и лицемерных похвал высокостоящим болванам. И профессор взрывается, подобно брошенной на землю петарде:

– Никого я не хочу ни знать, ни слушать! Что дурного или предосудительного в том, что всем моим сердцем и всеми моими мыслями завладела маленькая милая девочка, живой и нежный французский ребенок. Господи! Ведь я никогда не испытал и не перечувствовал и даже не надеялся когда-нибудь почувствовать тихой бескорыстной радости, которою так мудро и так щедро одаряет судьба дедушек и бабушек, когда все земные, прятные радости отлетают от них. Ах! Я не был дедушкой, не успел... Да, впрочем, что греха таить. Могу ли я, по чистой совести, похвастаться, что был когда-нибудь счастливым мужем или почтенным, уважаемым отцом, авторитетным главою дома, его основанием, его управителем и защитником?

Нет, вся его семейная жизнь сложилась как-то неладно, кособоко, нелепо, разрозненно и неуютно. Женился он приват-доцентом на бледной и капризной дочери видного профессора, университетского декана и академика, который сделал себе огромное имя, и независимое положение, и комфортабельную жизнь путями не особенно, по тому времени, прямыми: всегдашней готовностью идти навстречу воле и желаниям правительства, отрицательным отношением к студенческим массовкам, протестам и забастовкам, а также и суровой требовательностью на экзаменах. Он знал, конечно, что за глаза, в молодых радикальных профессорских кругах, его ядовито называли «кондитером» и «мыловаром». Но что ему было за дело до брехни неудачников, и бездарностей, и необразованных лентяев.

Он с привычным, нескрываемым удовольствием опускал в портмоне золотые, приятно тяжелые дарки, выдаваемые после каждого из торжественных заседаний Академии; со спокойным достоинством принимал казенные, весьма широко оплачиваемые научные поездки за границу и роскошные издания своих книг и без всякой тени заискивания расширял и поддерживал свои знакомства с питерской аристократией и с высочайшими особами. Студенты его ненавидели, но его лекции всегда наполняли аудиторию до самого верха, ибо он в совершенстве владел своим глубоким и гибким умом, был красноречив и обаятельно остроумен.

«Гениальная скотина», – назвал его однажды бесцеремонный и злой на язык великий циник граф Витте.

Брак Симонова с его младшей дочерью Лидией был чрезвычайно странен как по своей неожиданной быстроте, так и по полному отсутствию того томного ухаживания, которое составляет главную прелесть жениховского периода.

Поездка на Аптекарский остров профессорской компанией. Дурманящая белая ночь, легкое и веселое опьянение дешевым русским шампанским Абрау-Дюрсо, могучее дыхание полноводной Невы, смолистый ласковый запах березовых распускающихся почек, непринужденная игривость дружеского пикника. Играли в горелки. Лидия, со своим гибким и тонким станом, с матовым лицом и ярко-красными губами, летала, точно не касаясь ногами земли, похожая в загадочной полутьме на влюбленную колдунью. Никто не сумел бы понять, как это случилось. Догоняя Лидию, Симонов так разогнался, что чуть ее не опрокинул и для поддержания равновесия принужден был крепко обнять ее за талию и прижать к своей груди, так что почувствовал упругое прикосновение ее девических сосцов. И в этот же момент она поцеловала его в губы под защитой старого дерева.

Сначала молодой ученый был смущен и до румянца сконфужен ненасытной жадностью и чувственным бесстыдством этого пламенного и влажного поцелуя, но потом, со свойственным ему великодушием и уважением к женщинам, быстро решил в уме, что это просто первоначальная неумелость, неопытность, непривычность наивной и невинной девочки, вдруг вздувавшейся подражать взрослым или разыгрывать сценку из только что прочтенного романа. Но, во всяком случае, этот поцелуй, огнем пробежавший по всем нервам Симонова, требовал, по его джентльменскому мнению, серьезной ответственности. Поэтому, возвращаясь с пикника на Разъезжую, Симонов, набравшись храбрости, с бьющимся сердцем, сделал Лидии форменное предложение вступить с ним в брак. Немного покорило его спокойствие, с которым она дала свое согласие. Симонов ожидал услышать старинную, традиционную, многовековую фразу: «Поговорите об этом с папой и с мамой». Нет, она сказала просто, с вежливой приветливой улыбкой: «Я согласна. Вы мне давно нравитесь. Я не могу от вас скрыть, что приданое за мною не так уж велико, как это можно было бы предполагать, судя по нашей жизни, которая со стороны кажется очень широкой. Конечно, мои родители охотно возьмут на себя все расходы по бракосочетанию и по поездке за границу. Они же с удовольствием озаботятся тем, чтобы приискать нам на первое время уютную хорошенькую квартиру, с удобной мебелью и со всем хозяйственным обзаведением. Но я думаю, что больше пятидесяти тысяч папочка за мною не может дать. А это – немного по теперешнему времени, когда о шалаше и рае не вспоминают даже в шутку. Я свободно владею тремя иностранными языками: французским, немецким и английским, – и могла бы отлично переводить с них. Но вы сами знаете, как дешево оплачиваются переводы...»

Эта хладнокровная деловитость заставила Симонова на минуту съежиться, и он сказал с невольной неловкостью:

– У меня есть небольшое имение в Новгородской губернии. Если не ошибаюсь, сотни четыре десятин с небольшим. В Устюжинском уезде. Но еще больше я надеюсь на свой труд, потому что работать я люблю и умею, и никогда работы не боялся, и никогда от нее не отлынивал. Верьте мне, Лида: с вашей любовью и дружбой я вскоре займу положение, которым вы по справедливости будете гордиться. Вот вам моя рука в залог; пожмите ее крепко, как можете.

Бледное лицо девушки порозовело, когда она исполнила просьбу жениха. А потом она сказала:

– Если бы я не поверила вам, то неизбежно должна была бы поверить папочкиному мнению о вас. Вы ведь знаете, как он скуп на комплименты и на лестные отзывы, особенно в научной сфере. О вас же он заочно говорит, как о будущем светице науки, как об отце будущей, новой, великой школы. Это его собственные слова. А теперь, если вы не раздумали, пойдём к нему наверх и скажем о нашем решении соединиться законным браком. Только я вас об одном попрошу. Наука так и останется наукой, но в делах коммерческих и денежных обращайтесь всегда за советом к папе. Имя его известно во всем цивилизованном мире. Но мало кто знает, что папочка со своим ясным, светлым и острым умом является первоклассным дельцом и безошибочным разместителем крупных денег в такие места, откуда они вскоре возвращались обратно в удесятёренном виде. Папочке бы быть русским министром финансов! – сказала Лидия с гордой похвалой...

Таким образом женился Симонов на Лидии Кошельниковой. Брак этот вышел не по расчету, не по страстной любви, даже не по мгновенному случайному увлечению, от которого внезапно кружится голова, заволакиваются туманом глаза, а мысли и слова теряют смысл и значение.

Впоследствии Симонов много раз возвращался памятью к этому странному времени жениховства и первоначального замужества и никогда не находил в них ни логики, ни оправдания, ни надобности: было холодное наваждение, была неуклюжая актерская игра в напыщенную влюбленность. Он слишком поздно разобрался в душе своей жены и нашел для нее

типичное место, в котором, однако, не было ничего сложного, загадочного или необыкновенного. Просто: она была дочерью своей эпохи, когда молодые девушки либо мечтали о политике и курсах, либо напичкивались сверх силы Оскаром Уайльдом, Фридрихом Ницше, Вейнингером и половым бесстыдством. Лидия была из последних. Еще в институте для привилегированных девиц она ела толченый мел и пила уксус, для того чтобы тело не переставало держаться в воздушных, почти невесомых формах, а лицо под гримом постоянно носило томный отпечаток бессонных, безумно проведенных ночей, оставивших черные красноречивые круги под глазами.

В институте же, под наивной и невинной игрою в «обожание» старших подруг, она узнала первоначальные соблазны уродливой однополой любви, которой в то время предавались по распушенности и из-за снобизма юноши и девушки всех благородных учебных заведений. В супружеских интимных отношениях она не проявляла здоровой чувственности, была лишь холодно-любопытна, и вскоре эти отношения между молодыми супругами стали постепенно все реже и неодухотвореннее. Однажды Лидия сказала мужу:

– Ты знаешь. В конце концов немцы были и умны и практичны, когда признавали за «цвей киндер систем» право гражданства. Это и необходимо и достаточно.

Симонов, как всегда, ответил спокойным согласием и несколько не удивился тому, что, родив вторую, и последнюю, девочку, Лидия совсем отказалась от супружеских обязанностей, предоставив вместо них мужу полную свободу, в которой он, впрочем, совсем не нуждался.

Однако обязанность доставать деньги осталась за ним и с каждым годом настоятельно увеличивалась. За детьми Лидия никогда не ходила. Не любила и не умела этого. Около девочек были всегда кормилицы, няньки и бонны. Сама же мать только наряжала их, как кукол, и играла с ними, как с куклами, в течение десяти минут в сутки. Переводы с иностранных языков оказались милым вздором заневестившейся барышни. Знала она, правда, – и то с грехом пополам, – слов по сто на каждом из трех главных европейских языков, но для профессии переводчицы этот багаж был и скуден и легковесен. А главное, к занятию этому у Лидии не было ни призвания, ни терпения. Занимала ее больше всего легкая, суетливая, подвижная общественная благотворительность, устройство литературных и студенческих вечеров, лотереи, и базары, и прочие веселые пустяки с приглашением знаменитостей, с продажей шампанского и цветов и с постоянными предложениями заказывать новые модные костюмы.

Больше всего имела Лидия успех в только что народившихся, бесшабашных кружках новой литературы, поэзии и живописи, – у всей этой молодежи, носившей диковинные девизы кубистов, футуристов, акмеистов и даже ничевоков. Они в ней находили порочную прелесть верленовских изломов и манящую жуть сладострастия Пикассо. Впрочем, все эти божественно дерзкие переустраиватели мирового искусства никогда не задумывались над смыслом и значением тех умопомрачительных слов, которые они походя роняли, веско, гулко, бездонно-глубоко и абсолютно непонятно для непосвященных буржуев. Ничего! Им все благоговейно сходило с рук. Такое уж сверхчеловеческое поветрие носилось тогда, незадолго до ужасной войны, по обеим столицам России, что гении, пророки, ясновидцы, тайновидцы, предсказатели, медиумы, мировые мудрецы, Наполеоны и Заратустры рождались среди интеллигенции с быстротою грибов после теплого летнего дождя. Уважающему себя культурному и передовому человеку приходилось разрываться на части, чтобы не пропустить случая сбегать на поклон к новому блистательному светилу, только что вчера открытому. Москва, древняя, кондовая, купеческая, усестая Москва, которая прежде созывала гостей на обед с юродивым Корейшей, с прото-дьяконом Шаховцовым, который голосом своим тушил все люстры в зале, с полицмейстером Огаревым, с Шаляпиным или с борцом Поддубным, – эта наивная, сердечная Москва вдруг, очнувшись, поняла, что ей совсем уж невозможно жить без своего декадента. Поэтому она спешно заказала для своих домов декадентскую архитектуру, завела чертовски декадентскую и

безумно дорогую литературу, а московские дебелие девичьи бредили во сне: тятенька с маменькой, купите мне в женихи настоящего декадентского кентавра.

И покупали.

Чинный Петербург всегда был спокойнее, умереннее и хладнокровнее пылкой Москвы, к которой он еще со времен Петра Первого привык относиться свысока. Однако яростный напор новых течений во всех отраслях искусства мощно захватил и солидный Петербург, ставший к тому времени внезапно Петроградом. Первыми провозвестниками и глашатаями этой трескучей новизны стали торопливые карьеристы, малограмотные приват-доценты, читавшие «взгляд и нечто» на многочисленных женских курсах и пописывавшие критические статейки в сотнях журналов, которые ежедневно возрождались под самыми драконистыми заглавиями, чтобы через два-три дня тихо и бесследно опочить.

Лидия, со всегдашней своей страстью к шумливым, безвкусным и дешевым безделушкам, одной из первых записалась в горячие поклонницы всех этих «истов», в их верного друга, в их деятельную помощницу и пропагандистку. Они же называли ее своей мамой, своей музой, своим икс-лучом и аккуратно, целыми стаями посещали по пятницам ее несколько скучноватый, но услужливый и гостеприимный салон, где подавались очень вкусные сэндвичи и отличное кавказское красное вино «Мукузань».

Симонов вначале не без интереса и любопытства посещал декадентские вечера своей жены. Как-никак, а, по словам Лидии, на них созревало и выковывалось то новое, могучее и гордое искусство, которому надлежало, растоптав в прах все жалкие, скучные и нудные потуги предшественников, засиять над миром неугасаемой огненной звездой.

Однако вскоре он стал потихоньку думать: «Тут, по совести, одно из двух: либо я отстал от искусства и ничего не понимаю, либо все эти футуристы и кубисты – просто-напросто охальники, симулянты, мистификаторы, шарлатаны и развязные наглецы и похабники...» Правда, в некоторых поэзах этих вчерашних новаторов звучала порою странная и дикая сила; правда и то, что дерзкие консонансы, заменившие у декадентов лакированную точность строгих рифм, были ясны и понятны для Симонова, хорошо изучившего остроту крестьянских поговорок и частушек. Но отсутствие прямого смысла неприятно раздражало его, как раздражала и их манера читать свои произведения в нос, нараспев, на мотив «Чижика», похоронного ирмоса или бульварной песни, не останавливаясь перед похабными словами. Еще экстравагантнее были футуристические музыканты и кубистические художники. Этим не понимали даже близкие сотоварищи. Впрочем, в этих сверхчеловеческих, орущих шайках быть непонятым считалось первой ступенью к гениальности.

Эта здоровенная молодежь ела и пила с аппетитом волжских грузчиков, не переставая брала взаймы деньги и часто оставалась ночевать на диванах, на сдвинутых стульях и даже просто на полу. На это молодое разгильдяйство Симонов смотрел снисходительно и даже с молчаливым сочувствием. Профессорская жизнь еще не выжгла из его памяти студенческих годов в Московском университете, когда бесцеремонная молодежь охотно делилась и ночлегом, и обедом в столовке, и последней кружкой пива, и научными знаниями. Но один дурацкий случай вывел его из себя. Какой-то здоровенный, долговязый, весь в угрях декадент, в балахоне, наполовину желтом, наполовину голубом, с пучком укропа и с морковкой в петлице, только что окончил завывать свою новую поэму, носившую претенциозное заглавие «Паванна», и стоял, окаменев от наплыва вдохновения, а вокруг него благоговейно безмолвствовали второстепенные поэты. Встретившись глазами с Симоновым, желто-голубой верзила спросил в нос:

– Ну, что же, Амфитрион? Кого вы теперь назовете прекраснейшими из всех русских поэтов?

Смущенный Амфитрион невольно повел глазами по той стене, где у него ровной линией висели застекленные портреты всех знаменитых русских писателей и поэтов, и застенчиво про-
бормотал:

– Я думаю, что все-таки Пушкин...

– О, ослица Валаамова! – возопил прыщеватый декадент. – Весь ваш слащавый европеец Пушкин не стоит одного ногтя с моей ноги. – И вдруг, схвативши массивную чернильницу, декадент с быстрым размахом швырнул ее в лицо Пушкина, раздробив стекло и залив портрет чернилами. Симонов, весь побелев от негодования, схватил с необыкновенной силой поэта за шиворот и потащил к выходным дверям, беззвучно говоря дрожащими губами:

– Ах ты, сукин сын! Чтобы тут больше твоего духу не было! А то насмерть убью стервеца! Вон сию же секунду!

Претендент на высокое звание прекраснейшего из русских поэтов всех времен поспешно выскочил в переднюю, сбитый с толку и точно скомканный. За ним, с глухим ворчанием, посыпались второстепенные поэты. Но «грубая, безобразная, дикарская выходка» Симонова не обошлась ему даром. Во-первых, Лидия после громадного истерического припадка, с рыданиями и обмороками, заставила-таки мужа на другой день поехать к желто-голубому поэту и просить у него прощения. Во-вторых, ему на веки вечные запрещено было присутствовать на декадентских радениях, хотя бы даже издали через шелку. А в-третьих, с того злополучного вечера совсем прекратились всякие человеческие отношения между мужем и женой. Здесь не было ни злости, ни мести, ни взаимного отвращения. Просто оба давно уже стали понимать и чувствовать, что нет и никогда не было между ними ничего общего, сближающего, душевного и что скоростипажный брак их можно было бы объяснить только холодным, бессонным наваждением северной белой ночи и мгновенным капризом анемичной, избалованной петербургской барышни.

В начале этого расхождения Симонов даже был рад этой домашней свободе. Легче работалось, легче думалось. А главное, в эти одинокие тихие дни Симонов наконец нашел подход и дорогу к умам и характерам своих двух дочек, которые до сих пор пребывали в глупом баловстве и в капризном невежестве. Он с нежной и веселой радостью уже стал замечать, как входили в детские умы и сердца те избранные книги, которые он им читал: русские, умело подобранные сказки, сказки Андерсена, рассказы Марка Твена и чудесного Киплинга и Доде, «Хижина дяди Тома», приключения Жюль Верна, «Серебряные коньки», «Капитанская дочка» Пушкина и тому подобные вещи, легко и удобно входящие в ум и в воображение детей. Он при первой возможности водил девочек в Зоологический сад, в зверинцы, музеи и галереи. Каждый листик, каждая зверь и зверюшка, каждые жуки и мушки являлись для него и для детей предметами жадного внимания и удивительных рассказов. Эти два года мирного общения с маленькими дочерьми остались навсегда для Симонова самыми лучшими, теплыми и благородными воспоминаниями. Прежде бывало так, что, рассерженный безалаберностью жены и ее вечным мотанием по знакомым, и по лавкам, и по заседаниям, он молчаливо повторял про себя жестокое изречение из притчей Соломоновых: «Горе жена блудливая и необузданная. Ноги ея не живут в доме ея». Теперь же он все чаще ловил себя на унылой мысли брошенного человека, уже свыкшегося со своим одиночеством:

– А все-таки, куда как лучше и приятнее дома, когда в нем нету его почтенной и обворожительной хозяйки Лидии.

Но давно уже известно, что женщина, разлюбившая и злая, никогда не удовлетворится спокойным молчанием. Так и Лидия вскоре стала неутомимо пилить и заедать мужа, выбрав для этого самое уязвимое, самое чувствительное, самое больное место – деньги.

Настало время, когда в маленькой, когда-то мило уютной комнате на Песках с утра до вечера только и стало слышаться одно это желтое, ужасное, проклятое, ядовитое и такое всемогущее слово – деньги.

– Вы, как кажется, позабыли о деньгах? Где же деньги? Вы, по-видимому, все мечтаете о рае в шалаше, а не о деньгах? Вы, кажется, совсем забыли, что у нас завтра – гости и, чтобы принять их, надобны деньги? Оленьке нужны деньги на башмачки, Юленьке нужны деньги на

шубку. Кухарке нужны деньги на базар, мне нужны деньги на замшевые перчатки и на билет на Вагнера. – Деньги, денег, о деньгах, деньгам, деньгами, деньгам, деньгами... Вкус ржавого железа появлялся во рту Симонова, когда звучали эти металлические слова, требующие денег. Вскоре и дочери, сначала как невинные попугайки, а потом все сознательнее и настойчивее, научились этой минорной песне о вечных деньгах.

– Папочка! Почему ты нам купил аграфы сердоликовые, когда теперь все носят жемчужные? – Папочка! Почему ты купил места в партере, а не в бельэтаже? – Папочка! Почему у нас елка была с парафиновыми свечами, а у Х электрическая? Почему у Z свой собственный выезд, а мы должны трястись на извозчике-ваньке? – Папочка! Почему мамочка всегда плачет, что ты жадный и скупой и никогда не хочешь давать ей деньги и что ты, кроме того, страшный лентяй и не хочешь работать?

«Какая пакость со стороны тех матерей, которые ложью восстанавливают детей против отцов, – думал часто Симонов и тотчас же поправлял самого себя: – А еще хуже длительная, текущая годами семейная злобная вражда, в которой обе стороны считают себя великомучениками и только тем занимаются, что отыскивают против врага укусов поядовитее».

Симонов, со свойственным ему мягким великодушием, рыцарски самоотверженно причислял себя к одной из враждующих сторон. Носить в себе вечную неугасимую злобу казалось ему тяжким и горчайшим бременем, и он как бы навьючивал на себя молчаливо половину общего проклятого груза. Нет, никогда он не был лентяем или скупцом. Как однажды, в далекую белую ночь, дал он Лидии торжественное обещание работать не покладая рук для счастья своего гнезда, так и держал это слово с непоколебимой энергией, с радостным сознанием исполняемого священного долга. Он успевал читать лекции в петербургских сельскохозяйственном и лесном институтах и на женских курсах, преподавал физику, химию, космографию и естественную историю в кадетских корпусах, в военных училищах, женских институтах. Одно время он руководил геодезическими триангуляционными съемками в Академии генерального штаба. Он написал много статей, как строго научных, так и популярных. Журналы принимали их охотно, редакторы рассыпались в похвалах и комплиментах... Однако гонорары повсюду были мизерные. И все-таки жить было можно, и даже жить с небольшим комфортом, несмотря на то, что тесть слукавил на приданом. Беда была в том, что Лидия никогда не знала цены деньгам, и они сыпались у нее сквозь пальцы, а Симонов во всю свою жизнь так и не научился ладить с нужными людьми, обходя их услужничеством, лестью и подобострастием: бывал, когда не надо, горд, независим, противоречив, самостоятелен и неуступчив. А эти свойства люди сильные не всегда любят.

Когда пришла Симонову пора защищать свою докторскую диссертацию, то профессор Кошельников однажды любезно спросил его, как бы мимоходом:

– Что ты скажешь, милый зятек, если узнаешь, что университетский совет назначит меня быть твоим оппонентом на диссертации?

По профессорской этике такой любезный вопрос всегда имеет и огромный вес, и серьезнейшее значение. В нем как будто бы уже заранее признаются и талант и заслуги молодого диссертанта, и не чем иным, как благодарной улыбкой, на него нельзя было бы ответить. Но Симонов как-то сухо, по-медвежьи коряво возразил:

– Я бы, конечно, был весьма обрадован и польщен, господин профессор, но... но согласитесь с тем, что мы с вами все-таки в свойстве... и бог знает что могут наговорить недоброжелательные языки... Кумовство, nepoтизм, протекции... и так далее. Обоим нам будет неловко.

Тесть поднялся с кресла и желчно сказал:

– Дело ваше. Как знаете, как знаете... – и, надевая шляпу в передней, еще раз прибавил: – Как знаете.

Кончилось тем, что диссертацию свою Симонов сдал в Москве, и сдал самым блестящим образом. Когда он приехал назад в Петербург, тесть не дал себе труда поздравить его.

Кошельников был не злопамятен; к тому же он очень любил свою анемичную дочку. Поэтому спустя некоторое время он сделал зятю у себя на дому великолепное предложение в духе той финансовой мудрости, которой когда-то так восхищалась Лидия. Дело заключалось в том, что несколько влиятельных и высокостоящих чинов генерального штаба предпринимали в военных целях гигантскую работу по осушению Полесья. В настоящее время начинают разыскивать и подбирают опытных инженеров, гидротехников, землемеров, лесников, геодезистов. Проектируется работа на многие десятки миллионов. Дело большое и верное, и на нем можно честным путем сделать хорошее, солидное состояние, опору будущему счастью. У Николая Евдокимовича остались добрые знакомства с генеральным штабом, тесть поможет своими влияниями. Надо только ковать железо, пока оно горячо.

Симонов попросил две недели отсрочки для размышлений. Аккуратно в назначенный срок он пришел к тестю и попросил у него сепаратного разговора. С первых же слов он решительно отказался от работы на Полесье, а когда профессор Кошельников спросил о причинах такого крутого отказа, зять нарисовал картину мрачную, зловещую и устрашающую.

– Во-первых, – сказал он, – осушение Полесья стоит не миллионы, а миллиарды. Во-вторых, осушение Полесья, кроме дороговизны, повлечет за собою непременно обмеление всех водных источников, речонок и рек, как малых, так и средних и больших. Это же со своей стороны грозит оскудением сельских хозяйств на громадных пространствах, остановкой водяных мельниц, прекращением путей сообщения и в особенности пароходному движению по рекам, питаемым водами Полесья. Подумайте: Днепр и теперь уже нуждается в землечерпалках, что же будет дальше, когда он высохнет. В-третьих, кто инициатор и глава этого осушительного предприятия? Полковник генерального штаба Ж. Он поляк, действительно – Ж. С идеей осушения он возится давно уже, связывая эту идею с возможностью оборонительной войны. Умный теоретик военного искусства Михаил Драгомиров сказал однажды по этому поводу: «Умный, храбрый вождь пройдет шутя через топь. Трусливый дурак разобьет голову на ровном месте».

Однако полковник Ж. теперь снова вылез наверх... И наконец – четвертое: мне удалось узнать фамилии будущих предполагаемых подрядчиков. Все это – народ жох, тертые калачи, а главное, жестокие специалисты по лесному делу.

– И что же?

– Да то, что вся суть осушения сводится к неслыханной по размерам вырубке Полесья и распродаже леса в дьявольских размерах. Военные интересы – одна только вывеска.

– Однако, – возразил тесть, – ведь там в числе пайщиков есть и высочайшие персоны.

– Тем более, – угрюмо буркнул Симонов, – мне в эту компанию не ход.

– Глупая щепетильность, – пожал плечами Кошельников, и собеседники, не говоря больше ни слова, сухо и надолго простились.

На другой день Лидия пришла к нему в кабинет и без обычной ссоры, вялым, деловым голосом предложила ему развестись с ней. Он ничего у нее не расспрашивал, сразу же согласился. По ее же просьбе он согласился и взять вину развода на себя, как на мужа, осквернившего супружеское ложе. Много этому невинному, доброму и покладистому человеку пришлось выслушать консисторских пакостей, пока развод не был зарегистрирован в порядке.

Одно условие развода огорчало и удручало Симонова: обе его дочери, по утверждению Святейшего синода, должны были остаться при матери, на которую возлагалось их духовное и моральное воспитание в началах и указаниях Святой православной католической церкви. «Хорошими началами она их напичкает», – сурово ворчал про себя Симонов; и, предвидя неизбежные в разводе сцены ревности из-за детей, возрастающую на этой почве неуголимую ненависть и тяжелое влияние на девочек родительской вражды, он с глухим горем оставил навсегда Петербург, чтобы занять профессию в родной, знакомой и давно любимой Москве.

Так-то порвались навеки для него все сношения с бывшей семьей и даже самая память о ней. Но любовь ко всем детям, умиление над их беспомощностью, радость слышать их голоса и видеть их улыбки, созерцать их игры и их первые попытки к общежитию постоянно наполняли его душу целительным бальзамом. Он не ради щегольской фразы, но от глубины чистого и любящего сердца произнес свой афоризм на большом московском собрании матерей:

– Тот, кто написал хорошую книгу для детей или изобрел детские штанишки, не связывающие движений и приятные в носке, – тот гораздо более достоин благодарного бессмертия, чем все изобретатели машин и завоеватели стран.

А удушливый, горячий ветер сирокко не только не хочет уняться, но все больше и больше набирает силу, злобу и упругость. Профессор давно уже устал вести бесполезную ссору со своим тупым и мещански настроенным двойником Николаем Евдокимовичем. Приближающаяся и все не решающаяся разразиться гроза точно приплюскивает его к земле и лишает воздуха. «Что же я так сижу и изнываю?» – думает он. Ведь даже гимназистам первого класса известно, что ничего нет опаснее, чем стоять в грозу под деревом.

– Пойду-ка к себе домой. У меня над моей голубятней проведен громоотвод. Молодцы французы в этом отношении. Впрочем, и во всем они молодцы, что касается стихийных бунтов и восстаний.

Он подымается, с трудом выпрямляя члены, затекшие от долгого сидения. Бесчисленные мурашки бегут под его кожей.

«Точно электрический ток, – думает профессор. – А почему бы и в самом деле этому ощущению не быть электрическим явлением?» – и в этот момент Симонов тяжело падает на землю, оглушенный и ослепленный яростными, одновременными молнией и громом. Страшный ураган срывается, как взбесившаяся лошадь. Небо, воздух и земля заволакиваются густым зловещим мраком. Ревут деревья, трещат ломающиеся ветви, с чертовским грохотом и жалобным стоном падает столетний могучий каштан, выворачивая из земли свое огромное корневище, зарытое в землю. Деревья раскачиваются, нагибаясь до земли. Молния и гром не перестают ни на минуту. Водяные хляби разверзлись точно при потопе. Ничего не видно, кроме тяжелой, сплошной воды, закрывшей весь горизонт.

Симонов, весь промокший и потерявший дорогу, с великим трудом пробирается между деревьями, инстинктом находя дорожки и вновь теряя их. Маленькая, нежная ручонка вдруг касается его пальцев, и дрожащий, испуганный голосок говорит снизу:

– О господин. Я боюсь. Помогите мне. Я очень боюсь. Я не знаю, куда мне надо идти.

– Ах! Боже мой! Ведь это Жанета, – с радостью и с ужасом узнает профессор. – Как ты попала сюда, под мой непромокаемый плащ? Вот так, вот так, моя дорогая девочка, вот так. И теперь перестань тревожиться. Будь спокойна, я тебя сейчас донесу до вашего киоска. – И, ловко окутав Жанету своим пальмерстоном, он храбро шлепает по лужам.

Время от времени тоненький, жалобный голосишко попискивает из узла:

– О, как я боюсь, как боюсь, мой добрый господин! – И умиленный Симонов ласково и успокоительно похлопывает ладонью по разбухшей разлеталке. Так они выходят из Булонского леса, проходят по бульвару Босежур, и там, под перекидным мостом, профессор сдает свой мокрый груз в газетный киоск, наполняя его водой и крикливым изумлением хозяйки, которая уже успела до смерти измучиться, разыскивая свою быстроногую Жанету в эти страшные часы бури, молнии и зловещего мрака. Она, с той быстротой и приятной ловкостью, какие свойственны всем любящим матерям на свете, освобождая девочку от бесконечной профессорской обмотки, вытирала быстрыми движениями ее промокшее тельце, сморкала ей нос и в то же время не забывала шлепать ее по задушке и скороговоркою то браниться, то в сотый раз пересказывать Жанете, профессору и всем ближайшим соседям о тех ужасах, которые она сегодня претерпела.

– О дорогой господин, – обращалась она к Симонову. – Надеюсь, что вы извините меня за то, что я сначала подумала, будто это вы завели Жанету в Булонский лес, и вот я прибежала к вашей госпоже консьержке и осведомилась у нее о вас. И я была очень рада, когда услышала самые почтенные и добрые рекомендации о вас с ее стороны. Но вы, конечно, поймете душевную тревогу бедной матери. Надеюсь, что у вас самого были сестры, дочери или внучки?

Но тут сама Жанета, решительно высвободив головку из кучи тряпья, великодушно идет профессору на помощь и защиту.

– О моя дорогая мама, – говорит она с восторгом и ужасом. – Если бы ты видела, какой это был ужас. Я пошла в Булонский лес с Жермен, с дочерью мясника, господина Колэн, и мы разошлись там, когда настала гроза. О, мой бог, как это было страшно и как я испугалась. Ветер был такой, что сломились все деревья и разрушились многие большие дома. Молнии летали по всем направлениям, толстые, как моя рука, и большие, как Эйфелева башня. А гром был такой громкий, как фейерверки на четырнадцатое июля или как пальба из пушек, и дождь был ужасно большой, ну вот совсем как потоп, о котором нам читал господин аббат и который потопил весь мир. Я так испугалась, так испугалась, что думала, что сейчас же вот-вот умру. И подумай, мама, какое это было счастье, что добрый и храбрый господин пришел мне на помощь в бурю, грозу и молнию и точно святой ангел покрыл меня своим манто, чтобы вынести меня из настоящего ада. О мама, этот отважный жантильом²² был моим спасителем, которого мы должны благодарить во всю нашу жизнь.

Эта импровизированная болтовня умилила и рассмешила профессора до слез, а мать вставила уже спокойным голосом:

– Этим декламациям Жанету научила ее лучшая подруга Жермен, которая старше ее и, к сожалению, чрезвычайно много читает.

Профессор сказал:

– Конечно, это маленькое приключение – просто пустяки, и все обошлось благополучно. Позвольте, мадам, я в один момент схожу в бистро к мадам Бюссак за липовым цветом, он у нее превосходного качества. Ведь ваша бедная девочка все-таки сильно промочила ноги.

– О нет, мой господин. Я вас, пожалуйста, прошу не беспокоиться. Липовый цвет есть у меня на квартире, а я вам приношу миллионы благодарностей и, в свою очередь, прошу вас заняться своим здоровьем. Эти летние простуды гораздо опаснее зимних.

«Экая твердая баба! – покачал головой Симонов, уходя из киоска. – И все-таки прекрасная любящая мать».

Пройдя шагов пять, он обернулся назад. В киоске, из-за каких-то платков и тряпок, глядел на него веселый, ласковый, улыбающийся глазок Жанеты.

И вот вскоре настал для профессора Симонова моральный скучный ущерб. Прежде хоть изредка удавалось ему на минутку-две увидеть живое, веселое личико Жанеты под разными приличными предлогами: то покупая газету, то просто проходя мимо киоска с нарочно сделанным серьезным, деловым лицом. Теперь он стал стыдиться своих прежних невинных хитростей и бояться, что Жанетина мать подумает, будто русский старый чудак, особенно после грозы в Булонском лесу, захочет втереться в чужую семью. И он стал наблюдать за милой девочкой с осторожной украдкой, на далеком расстоянии, стараясь не попадаться на глаза ни матери, ни дочке, благодаря Бога за свою лесную привычную дальноркость.

Весело, пестро, разнообразно, затейливо проводит Жанета свои дни, радостно насыщенные все новыми и новыми впечатлениями. Ноги ее не успевают бегать, легкие – дышать, глаза – все жадно видеть, уши – все слышать, ум – все воспринимать. Будь Жанета совсем свободной – для нее мало было бы всего Шестнадцатого округа, всего Парижа с окрестностями, всей необозримо большой Франции. Но, к ее досаде, строгий надзор матери и острая наблюдатель-

²² Дворянин (от *фр.* gentilhomme).

ность услужливых соседок замкнули ее свободу в тесное пространство, ограниченное квадратом, образуемым четырьмя улицами: улицей Ранеляг, авеню Мозар, улицей Ассомпсьон и бульваром Босежур.

Профессор уже давно это заметил и сам для себя в уме называет Жанету принцессой четырех улиц.

Правда, эта быстроногая принцесса в неудержном беге врывается и в другие близлежащие улицы: в бульвар Монморанси и в улицу Доктора Бланш. Но это только резвые наскоки принцессы-амазонки, жаждущей невинных приключений.

Самый суровый запрет положен на Булонский лес, да и сама храбрая Жанета трепещет перед его ужасами и до сих пор не может понять, какие силы занесли ее в густой парк во время бури сирокко. Там, по уверениям старинных обитательниц Пасси, прячутся в густых деревьях злые мошенники, которые нападают на гуляющих и, бросая их в автомобили, увозят бог знает куда, чтобы взять потом за них большой выкуп; там появляются беспощадные люди-сатиры, не жалеющие ни женщин, ни детей; там бродят часто кровожадные дикие звери, убегающие из соседнего зоологического сада, и, наконец, там ходят по вечерам белые привидения, духи людей, погибших давным-давно на дуэлях в Булонском лесу и лишенных церковного покаяния.

Но на всем протяжении своего маленького суверенного владения Жанета является настоящей, всеми признанной принцессой: принцессой доброй, приветливой, заботливой и любимой. Ее подданные души в ней не чают. Когда она весело, легкими быстрыми шажками проходит по улицам своего государства, то с обеих сторон слышатся ласковые приветствия:

– Добрый день, Жанета! Добрый день, маленькая Жанета!

Так встречают ее все: почтальоны, несущиеся с толстыми кожаными сумками, взрослые девушки, развозящие по домам в ручных тележках молоко и булки, девочки, спешащие говорливыми группами в школу, рабочие, только что принявшие в бистро очередную порцию аперитива или джестива, чиновники и посыльные, старающиеся сохранить на лицах выражение деловой серьезности, между тем как свет нежной улыбки освещает их уста, пожилые женщины, идущие быстрым ритмическим шагом на базар.

– Добрый день, Жанет! Добрый день, Жанет!

И Жанета разбрасывает налево и направо свои звонкие приветствия вместе с ландышами и маргаритками своих сияющих улыбок:

– Добрый день, господин Топэн! Добрый день, госпожа Тиру. Добрый день, Ирэн, Симон, Мадлэн...

И как мило заботлива она к работе и к интересам своего народа. Вот идет по тротуару молодой, весь в лохмотьях, савояр, дудя гнусаво в допотопную деревянную свирель. Рядом с ним, на мостовой, тесно сплотившись, движется густое, лохматое стадо коз. Савояр только и знает, что наигрывает тысячелетнюю печальную мелодию, а за порядком стада ревностно, строго и неутомимо следит умный, черный, большой пес, не устающий бегать вокруг бредущей отары, загоняя каждую отстающую, проказливую или упрямо-игривую козу в общее тесное, блеющее стадо. Он достигает этого лаем, ударом головою, иногда осторожным укусом, а всего больше огненным взглядом своих человеческих глаз. Прохожие, знающие злобный и решительный характер савойских овчарок, обходят их подальше, но для Жанеты не существует ни страха, ни боязни за свое тело, и руки ее никогда еще не знали трусливой дрожи. Поэтому она с беспечной старательностью помогает черному барраку загонять коз, и мохнатая, с ног до головы обросшая шерстью собака порою возьмет и лизнет Жанету длинным, красным, горячим языком, стараясь пройтись по всему лицу.

И меланхоличный савояр, не останавливая стада и оставляя его на попечение пса, останавливает одну лишь из коз, с ловкостью фокусника доит ее грушевидное вымя в небольшой стаканчик и молчаливо протягивает его Жанете. Теплое козье молоко не особенно вкусно; к тому же оно так сильно отдает терпким запахом неистового козла, что пьют его только боль-

ные и редкие любители. Но как же обидеть савояра и его прекрасного пса? Молоко мужественно проглочено одним мгновением.

– Благодарю, до свиданья, мой дорогой пес. До приятного свиданья.

Проходит, мелодично позванивая большим звонком, древний, но крепкий, как дуб, точильщик ножей, бритв и всякого кухонного металла. Его передвижная мастерская весьма тяжела. Везут ее на колесах вдвоем: хозяин-мастер и его трудолюбивая собака-волк. Часто Жанета с умилением удивлялась той добросовестности, с какой эта рыжая, гладкошерстая собака несла свою обязанность. Она напрягала все свои силы, налегая на постромки, и как бы распластывалась по земле, стараясь облегчить груз своему божеству, хозяину.

– Добрый день, господин Перье!

– Добрый день, моя малютка!

Он останавливался и опять звонил, ощупывая глазами этажи и дома, из которых могли бы дать работу. Рыжий собака-волк в это время укладывался калачом на земле под точильным прибором. Там же оставался он и в то время, когда господин Перье визжал, верещал и яростно жужжал своими орудиями. Не подымался он и тогда, когда хозяин заходил освежиться от трудов праведных в кабачок «Au relouse» (лужайка). Может быть, ему не нравилось, что в этом кабачке на улице Доктора Бланш обитало множество чуть-чуть синеватых сеттеров, порода которых так и зовется «голубые оверньские», а может быть, он вообще пренебрегал всяким обществом на свете. Он был молчалив, необщителен, всегда скучен. Гладить себя он никому не позволял, а хозяин, кажется, ни разу в жизни его не погладил. Жанета, конечно, могла это делать, но что же приятно гладить собаку, которая на это не обращает никакого внимания.

Странен был сумрачный характер этой собаки. (Не лежало ли на ее душе какое-нибудь тяжкое преступление?) Тем более что господин Перье был всегда весел и общителен. Жанета очень любила издали слушать, как он пел в своем любимом кабачке старые-престарые, веселые песни, с трудом понимаемые нынешними французами. Немножко странным казалось Жанете, что господин Перье некоторые слова песен заменял мычанием и многозначительным побрякиванием.

Все были добрыми приятелями Жанеты: и необыкновенный крикун, покупавший тряпки-железо, а также торговавший разными костюмами; и садовники из роскошного цветочного хозяйства, принадлежавшего какой-то таинственной, никем никогда не виданной миллионерше, и девушки из лаборатории, и страстные игроки в конский тотализатор, которые, покупая спортивные газеты, просили Жанету назвать им на счастье какую-нибудь цифру, и нищие, которым она никогда не скупилась подать монету в два су, если она находилась в кармане передника, и так далее. Но были у нее еще дружки, особенно ценные, интересные, занятые и любимые. Появлялся, например, раза три в месяц в пределах Жанетиного властвования старый, бодрый шарманщик. У него не было левой руки и правой ноги, которые он потерял на войне, но зато была хорошо налаженная, солидная клиентура из истинных знатоков и тонких любителей загородной шарманочной музыки или, как ее вернее называют, – органной. Через каждые десять дней регулярно он приходил под окно очередного меломана, укреплял каким-то непонятным способом при помощи костылей свою шарманку и давал на ней превосходный концерт, начинавшийся всегда с итальянской канцонетты «O sola mia»²³, военной французской песенкой «Madelon» или «Марсельезой». Надо сказать, что избранная (по его мнению) публика любила его. Во время концерта и после его окончания разные монеты, завернутые в бумажки, так и летели изо всех этажей, брякая об уличные тротуары и о мостовые.

Но, кроме изысканной музыки, одорукий и одноногий шарманщик приспособил к крышке своего органа небольшую шкатулочку, из которой уличная публика могла за пять сантимов вытаскивать свернутые в голубые, зеленые и красные трубочки предсказания судьбы,

²³ «О моя единственная» (ит.).

разрешения любовных и коммерческих дел, астрологическое значение планеты каждого человека и прочие премудрости. Однако музыканту, очевидно, было по его инвалидности и больно и неудобно заниматься одновременно несколькими делами: вертеть ручку шарманки, следить за любителями предсказательной лотереи и подбирать с земли завернутые монеты, шкандыбая, тяжело нагибаясь и еще еле успевая посылать добрым клиентам летучие поклоны во все этажи, от рэ-де-шоссе до мансарды восьмого этажа, в котором гнездились горничные, кухарки, швейки и прочая беднота, всегда щедрая на расплату за маленькое удовольствие. Однако шарманщик терпеть не мог, когда кто-нибудь из собравшейся вокруг него публики проявлял желание помочь ему. В этих случаях он стучал костылем и с недовольной торопливостью говорил:

– Нет, нет, благодарю, благодарю, я сам, я сам. Благодарю!

Но удивительно – когда Жанета впервые нагнулась со своей легкой гибкостью и изящно, двумя пальчиками, поднесла ему скомканную бумажку с двумя толстыми «гро су»²⁴, шарманщик нежно похлопал ее по плечу и, улыбаясь, сказал:

– О, мерси, гранд мерси, моя крошка. Как вы очаровательны!

И правда, в этой смуглой, грязноватой девочке, с черными живыми глазами, было очень много того, что французы называют шармом и что в Жанете ласково пленяло людей, собак, лошадей и кошек.

В следующий свой визит на Пасси, в герцогство принцессы Жанеты, шарманщик уже разыскивал озабоченно глазами, где его недавняя помощница, и, отыскав, с улыбкой поманил ее к себе, а когда она подошла, вся сияя от радости, он вытащил из отворота пальто слегка помятую, но все еще благоуханную розу и галантно поднес ее девочке. С этих пор Жанета, как только услышит издали гнусавые, тягучие звуки шарманки, – стрелой летит к своему импресарио и добросовестно работает, избегая лишь переступить через запретные зоны. И неизменно она получает от музыканта розу, гвоздику или другой сезонный цветок. Эти подарки – ее гордость. Они заработаны чистым артистическим трудом.

Другой увечный человек – самый любимый друг Жанеты, предмет ее жалости и особой заботы, – это слепец. Он – кроткий пожилой мужчина, с бледным лицом и мягким голосом прекрасного печального тембра. Ему каждый день утром надо зачем-то переходить через улицу Ранеляг, которая в этот год загромождена новыми строениями, полными мусора, кирпича и досок, что делает непостоянную дорогу трудной и опасной для незрячего. Жанета помогает ему много дней, недель и месяцев. Каждый день, кроме праздников, в семь часов утра дожидается Жанета на перекрестке авеню Мозар и улицы Ранеляг появления своего тихого и милого друга. Он показывается ровно в семь, минута в минуту, секунда в секунду. В руке у него белая палочка. Он не видит, но движениями головы как бы хочет учуять то место, где находится девочка, и она тотчас же подает звонко свой тоненький голосок:

– Здравствуйте, господин Гастон.

Его проваленные глаза черно-мертвы. Но на губах его разливается теплая, всегда грустная улыбка.

– Здравствуй, душа моя. Что видела во сне?

Но Жанета так еще молода, что снов не видит, а если и видит, то мгновенно же их забывает.

– Ничего, господин Гастон.

– И слава богу, – утешительно произносит слепой.

Они берутся за руки и идут. Слепой уже привык ощупывать почву своей палкой, но иногда Жанета, слегка пожимая его руку, предупреждает:

– Направо кирпич! Налево ямка!

Иногда они садятся на уличную скамейку и разговаривают. Слепой вдруг спрашивает:

²⁴ Монетами в десять сантимов (от *фр.* gros sou).

– У нас сегодня понедельник?

– Кажется, господин Гастон.

– А как ты думаешь, Жанета, какого цвета понедельник?

– Темно-зеленого, – отвечает девочка.

– И мне кажется так же. А вот – слышишь? – солдаты в трубы трубят. Теперь какой цвет?

– Красный, – не задумавшись, отвечает Жанета.

– А я думаю, что красный с желтым оттенком. Не правда ли?

– Да, правда, господин Гастон, с желтым.

Они замолкают. Через несколько минут господин Гастон тихо говорит:

– Ну да. Я ослеп. Ничего не вижу. Но ведь судьба оставила мне великодушно слух, осязание, обоняние, вкус и разум. А я мог бы лишиться всего этого и лежать бы теперь в вечном бессознательном мраке. Разве я не счастлив, милая Жанета?

– Я вас люблю, господин Гастон, – шепчет девочка и ласковой рукой нежно проводит по его лицу. А потом они рука об руку идут до бульвара Босежур, где расстаются.

Профессор Симонов не раз видел эти тихие, меланхолические свидания. Нет! Его светлая душа не знает ревности, особенно к такому человеку, как господин Гастон, столь жестоко наказанному судьбою. Он только иногда смутно думает о том, что если бы он сам был слепцом, то величайшим утешением в этом несчастье была бы для него дружба с Жанетой. И вот он однажды решается на невинную, смешную мальчишескую уловку. Водиться с русским профессором строго-настрого запрещено, но, встречаясь с ним случайно на улице, Жанета никогда не упустит возможности поздороваться с ним улыбкой или кивком головы. Иногда даже перебегает через улицу на другую сторону, причем у нее несносная манера лезть под каждый трамвай и камион²⁵, что приводит Симонова в холодный ужас. И вот как-то раз утром, вывернувшись чудом из-под огромной, ревущей и пытящей машины, Жанета застаёт старого друга совсем расслабленным, хилым, разбитым, измученным.

– О господин профессор, что с вами? Вы, кажется, очень больны? – говорит жалобно Жанета. – Чем я могу вам помочь?

– Ах, дорогая Жанета, – кричит и стонет Симонов. – У меня большое горе. Я ослеп! Не будешь ли ты так добра провести меня до дома? Я живу близко отсюда, бульвар Монморанси.

– О, с удовольствием, господин профессор. Не угодно ли вам будет опереться на мою руку?

Они идут. Проходят шагов с пятьдесят. Походка профессора становится все спотыкливее и неувереннее, и, не доходя до квартиры профессора шагов на тридцать, Жанета вдруг раздражается веселым, громким хохотом, звенящим, как золотой дождь по серебряному блюду.

– Ах, шутник! обманщик! – заливается Жанета. – Разве меня можно одурачить! Ваши руки слишком жестки для слепого, и разве я не вижу, как дрожат ваши ресницы, когда вы через них поглядываете на меня? И шаг ваш гораздо тверже, чем у слепца. Ну, алор, марш домой, господин слепой! И пожалуйста, не делайте над собой таких фокусов, а то и навсегда останетесь слепым. На небе таких шуток не любят.

Симонов уходит посрамленным и сконфуженным. Но в дорогу Жанета посылает ему ласковое утешение:

– Вы не думайте. Я люблю господина Гастона, но люблю и вас. Гастон хороший, и вы тоже хороший, всякий по-своему. Подождите, я когда-нибудь вас познакомлю, и вы станете друзьями.

Много странностей с течением времени замечает профессор за Жанетой. Так он открывает, что эта милая девочка совсем чужда брезгливости.

²⁵ Грузовик (от фр. camion).

Однажды, ранним утром, спустившись со своего высоченного чердака вниз, на уличный асфальт, профессор увидел обычное зрелище, которое он привык созерцать каждый день. У выхода из дома, как всегда, стоял высокий, вместительный автомобиль около заранее выставленных консервками цинковых кубов со всяким накопившимся за сутки домашним мусором. Трое бойких овернцев ловко подхватывали эти кубы и опораживали их в автомобиль. И вдруг Симонов услышал громкий веселый голос оверньята:

– Эй, Жанета! Держи.

Тут только увидел профессор маленькую фигурку девочки, до сих пор заслоненную боком машины. Жанета искусно поймала на лету небольшой серый предмет, брошенный для нее. Это был уже сильно поношенный плюшевый медвежонок с наивной, удивленной мордочкой.

– Благодарю, господин Антуан! – крикнула радостно Жанета.

А Симонов подумал: «Так вот откуда у нее в детской колясочке такая богатая коллекция старых, потрепанных игрушек. Из ордюров, а по-русски говоря – из помоек. Черт возьми, ведь эти чаны самое удобное гнездилище всевозможных бактерий. Здесь захватить опасную инфекционную болезнь – одна секунда. Почему мать Жанеты такая росомеха? О чем думает городская полиция? Чем занят санитарный надзор?» Обратиться к Жанетиной матери с предупреждениями и увещаниями профессор не отваживался, давно узнавши ее деспотичную властность и крутую самостоятельность по отношению к дочери. Смешно и нелепо было бы также рекомендовать людям, занятым чистотой и здоровьем громадного города, чтобы они следили за гигиеническим поведением и за чистоплотностью каждой бойкой и резвой парижской девочки семи лет. Это – дело матерей и школы. Но изобретательный ум профессора выдумал уловку – безвредную для Жанеты и приятную для него самого.

Один из мусорщиков, господин Антуан, похожий наружностью на грузина, а характером на русского ярославца, был с ним в дружбе. Они посещали одно и то же бистро госпожи Бюссак и уже много раз успели сыграть в беллот и угощали один другого очередными турами красного вина. У Симонова с давних пор был дар ладить с простыми рабочими людьми. Однажды, допивая свой стакан розового вина, профессор сказал:

– А кстати, господин Антуан, у меня к вам маленькая просьба.

– К вашим услугам, мосье.

– Видите ли... Маленькая Жанета – очаровательная девочка... прелестная, но ее почтенная мамаша ужасно строга к ней. Никогда не сделает ей какого-нибудь детского удовольствия и ни за что не позволяет подарить девочке хотя бы самую невинную, самую пустячную безделушку.

– О господин, – возражает серьезным тоном Антуан. – Мы, французы, мы очень любим наших детей, и мы никогда не пойдем, с какой стати иностранец, хотя бы жантильом, вдруг станет дарить нашим детям игрушки. Что у него на уме? Откуда такой странный каприз? Разве у иностранцев нет своих собственных детей?

Профессор вздыхает.

– Ах, господин Антуан, у меня было двое детей, две девочки. Но теперь их нет, и я никогда уже больше их не увижу. Понимаете ли вы эту тоску по детям. Один великий философ сказал как-то: «Природа не терпит пустоты». Отсюда и моя чистая, святая любовь, моя отцовская привязанность к Жанете. Будь я богатым человеком, я бы обставил жизнь Жанеты и ее матери прекрасными комфортабельными условиями, дал бы девочке превосходное образование, сделал бы каждый день ее существования на свете радостным и полезным для нее и для окружающих ее людей. Но что же я, бедный дьявол, могу теперь для нее сделать, только подарить ей кое-когда дешевую игрушку.

Господин Антуан растроган словами профессора и особенно его теплым, печальным, задушевным тоном.

– Чем же я могу помочь вам, мой бедный друг?

Профессор оживает.

– О! Господин Антуан, совсем невинным пустяком. Я видел как-то: вы бросили Жанете с вашего камиона плюшевого медвежонка. Он был уже старый, потрепанный, инвалидный, но я видел, каким восторгом заблестели глаза Жанеты. Вот и все. Так позвольте, я когда-нибудь принесу вам какую-нибудь неважную детскую безделицу, а вы, ничего не говоря, бросьте ее Жанете, и я тоже обещаю вам никому об этом и никогда не говорить. Пусть тайна останется между нами двумя.

В душу каждого француза, даже делового оверньята, вложена небольшая доза сентиментальности, когда дело коснется детей.

– О, – говорит оверньят, хлопая Симонова по плечу. – Конечно, мне это не доставит никакого труда. Я в вашем распоряжении.

Еще задолго до ужасной войны и до последовавшей за нею принудительной эмиграции Симонов знал поверхностно Париж, восхищаясь им в недолгие наезды. Теперь, прожив в столице мира почти десять лет, он не устает все больше изумляться ею: ее жизненной могучей силой, ее радостным, всегда молодым темпом, ее любовью к зрелищам, к острому слову, к изяществу во всех отраслях жизни, чудесной законченностью во всех делах, изобретениях и творческих произведениях. Чего только не подарил Париж всему свету. Самый блистательный, самый роскошный, самый могущественный и самый абсолютный монархизм и самые кровавые, самые непреодолимые революции; мудрость Паскаля и оперетку Оффенбаха, смех Рабле и язвительную иронию Вольтера, тонкие афоризмы мыслителей и прекрасное в своей грубости историческое слово Камбронна, удивительнейшие духи знаменитых парфюмеров и мудрую книгу Суварена «Физиология вкуса».

В продолжение многих столетий Париж был всеми признанным царем, владыкою женских мод, и останется на этом троне еще на много веков, как останется впереди прочих народов в областях математики, химии, физики, строительства, юриспруденции, медицины, инженерных искусств и всех прочих наук и искусств.

Марка Парижа – это пропускной билет в храм славы и бессмертия. Это знают не только ученые, не только знаменитые писатели, художники, скульпторы, композиторы, музыканты, певцы, но и престижитаторы, Вантерлоки, жокеи, клоуны, сальтимбанки и предсказатели. Париж скуповат на денежные глупые подношения, но его аплодисменты звучат на весь земной шар. И как благородно хранит Париж память о том, кто при жизни удостоился сделаться его любимцем. Вряд ли есть во всем мире другой город, в котором с парижской роскошью были бы увековечены в статуях и в наименованиях улиц великие люди, ушедшие из жизни. Воистину Париж светоч и столица *мира*.

Но особенно сильно пленяло и восхищало Симонова народное кустарное, наивное творчество французов. Он никогда не пропускал хозяйственных выставок в память парижского префекта Лепина и заслушивался изумительным красноречием уличных шарлатанов, которые при помощи слова и жеста умели втереть прохожему самую пустячную и никуда не годную вещь. Также доставляло ему большое и чисто мальчишеское удовольствие ходить по Большим бульварам в те погожие часы, когда там безвестные изобретатели и мастера продавали детские игрушки, всегда новые, всегда забавные, всегда заманчивые и остроумные. Ведь только здесь, в невольном и тяжком изгнании, он понял, что почти все милые и любимые игрушки его раннего московского детства круговым путем приходили из Парижа: и бильбоке – игра садовая, и американский чертик, разноцветные воздушные шары, и скрипучие кри-кри, запрещенные потом обер-полицмейстером Огаревым. А парижские кустари выдвывают да выдвывают все новые да новые игрушки, забавляющие взрослых и детей, стариков и старух, девочек и мальчиков. Какая веселая изобретательность и какое знание сегодняшней моды. Стали парижские дамы увлекаться фокстерьерами – на бульварах тотчас же появляются крошечные фоксы из лайки,

плюша, фланели и даже бархата. Вошли в моду мохнатые айриштерьеры – и уже на Больших бульварах продаются сотни этих добродушных симпатичных собачонок, которые и живыми кажутся, будто они наспех, неумелыми детскими руками, сделаны из ваты, пуха и домашних мелких лоскутков. Потом пришла очередь Микэ, не то мышат, не то морских свинок, не то кроликов. Эти Микэ раньше до слез смешили ребятишек, выходя в антрактах кинематографов на экране, но потом их потешный образ был перелицован в маленькие игрушки, которые и смешили по-прежнему, и вскоре оказались отличными порт-бонерами²⁶. Большой успех имели растягивающиеся и сжимающиеся игрушки ё-ё, но успех их оказался недолгим – месяцев пять-шесть, а потом он исчез. Но бывают игрушки-счастливицы, на которые не влияют ни моды, ни время, ни капризы покупателей и которые в спросе постоянно: десятками, если не сотнями лет. Тут либо ворожба, либо умно схваченный вкус всех детей одного и того же возраста. Это, во-первых, два картонные боруа, которые прекрасно изображают на столе все перипетии римско-французской борьбы, будучи незримо привязаны к тончайшей ниточке, управляемой игрушечником. Затем утка, кричащая при нажиме на весь базар, и, наконец, жуки, мухи, стрекозы, пчелы и прочая тваришка, которая сама движется от пружинного завода. И, двигаясь, дребезжит. Конечно, такая игрушка может прожить несколько человеческих поколений, если солидный папа вынимает ее в праздничный день из стеклянного футляра и осторожно заводит, отнюдь не перекручивая завод, а после того как кукла исполнила свой номер, осторожно запирает ее в тот же футляр, где она пролежит мирно до следующего большого праздника. Но куда же мы тогда денем невинное детское любопытство и присущее детям научное влечение ко всем механизмам?

На другой же день после своего сентиментального разговора с оверньятном Антуаном Симонов пошел на Большие бульвары. Предварительно он сделал строгий учет своей денежной кассе. Наличными оказалось одиннадцать франков семьдесят пять сантимов. Черному коту Пятнице печенку не покупать ввиду его безвестного отсутствия. Это – плюс. Старые мозеровские часы можно было бы продать или заложить. Ход у них как у судового хронометра. Но кто же польстится на древние серебряные, да еще пожелтевшие за долгую службу часишки? Взять аванс на одном из уроков? Спросят: зачем понадобилось? А не умею я ни лгать, ни кривить умильно подобострастного лица. Обойдусь иначе. Да вот, на что лучше. Пробные опыты вегетарианства, как лучшего стимула физического и духовного возрождения. Это – идет. Полфунта белого хлеба, немножко черствого, стоит пятьдесят сантимов и хватает на два дня. Теперь вопрос в питательных веществах и в витаминах. Хорош геркулес, недурна овсянка, хвалят квакер и поридж. Надо из них выбрать что посытнее и подешевле. Чай у меня спитой, но был в употреблении только один раз и потому смело послужит еще раз на пять-шесть. Право, все в порядке!

На Больших бульварах, как всегда, было много продавцов игрушек, пропасть покупателей и еще больше праздных зевак. Симонову трудно было выбирать. Что казалось хорошим, было дорого, а дешевые вещицы были скучны, не интересны.

На Итальянском бульваре профессор вдруг наткнулся на игрушку, которая показалась ему и новой, и занимательной, и красивой. На левой руке продавца, под мышкой у него, сидит крошечный веселый фокстерьерчик, трудно сказать – щенок, или уродец, или лилипут. Он необычайно мал и мил. Глазки его задорно блестят, миниатюрные лапочки, вылезшие наружу, находятся в непрерывном движении. «Ну что за прелестный песик», – думает профессор и тут только замечает, что фокстерьер сделан из какой-то белой материи, глаза – из литого стекла, лапочки его заставляют двигаться каким-то образом хозяин. Но не один профессор поддается этой ловкой иллюзии. То и дело у лотка восклицают не только мужчины, но и более их проныцательные женщины:

²⁶ Брелоками (от *фр.* porte-bonheur).

– Ах, какая прелестная собачка! Можно подумать, что в самом деле игрушечная. Но кто же сумел вырастить такую мелкую породу? Удивительно, до чего теперь доходит всякое искусство! Ах! Как он на меня сейчас поглядел. Ну просто не собака, а человек.

Симонов с унылой безнадежностью спрашивает сипло:

– Сколько?

– Десять франков девяносто сантимов.

Симонов долго и молча стоит, пришибленный своей проклятой бедностью. У него налицо всего одиннадцать франков семьдесят пять сантимов. Если один франк удержать у себя на всю грядущую массу расходов, то, увы, на покупку фоксика все-таки не хватает трех су.

– Три су, – кричит в молчаливом отчаянии профессор к небу, – только три су! Найти бы их хоть на земле. – Он нагибается до самого тротуара. Здоровенный, чеканки Наполеона Третьего, гро-су лежит на земле. Профессор почти не удивляется. Увы! Еще одного пти-су нет, одного су, на который теперь во Франции нельзя купить, кроме пустой аптечной облатки, ничего.

Но хозяин очаровательного фоксика добродушно говорит:

– Оставьте, не затрудняйте себя. Всего одно су – какой пустяк! Вы лучше посмотрите, как надо управлять собачкой. Один палец сюда, другой сюда, а несуществующее туловище вы как бы прикрываете рукою. Благодарю вас, мосье, я чувствую, что у вас легкая рука.

На другой день, ранним утром оверньят Антуан как бы случайно находит в своем емком камине эту великолепную игрушку и дарит ее Жанете, показав сначала все чудесные движения веселого, ласкового песика. Игрушка имеет во всем квартале поразительный успех. Все друзья и подружки Жанеты целый день наполняют улицы, переулки и тупики восторженным визгом и неистовыми криками:

– О Жанета, позволь и мне подержать на минуту твою волшебную собачку! Милая Жанета, а она умеет лаять? Как ее зовут, Жанета? А можно ее погладить, Жанета? Ах, какая ты счастливая, Жанета!

Жанета добра и великодушна. К тому же ее радость так чрезмерно велика, что можно в ней захлебнуться, если не поделишься с другими. Она за сто шагов увидела Симонова и помчалась к нему, как ласточка:

– Господин профессор! О мой дорогой господин профессор! Посмотрите, какая у меня восхитительная вещичка. Видали ли вы когда-нибудь что-нибудь подобное?

Профессор сделал удивленно-серьезное лицо.

– Нет, милая Жанета, никогда не видел. Это – настоящее чудо. В том, что собачка – фокс-терьер, можно не сомневаться по всей ее наружности, но я уверен в том, что такой малюсенькой собачки никто еще на свете не видывал. Это либо англичане, либо японцы могли вырастить такую редкостную породу. Ты ее чем кормишь, Жанета?

Тут девочка раздражается звонким хохотом.

– Да ведь она не настоящая, не живая. Она неодушевленная. Она сделана из какой-то материи, у нее даже нет живота, и она не дышит.

– Удивительно! – говорит профессор. – Глаза у нее совсем живые, а мордочка превыразительная. Откуда ты ее взяла, Жанета?

– Мне подарили. Господин Антуан подарил, который по утрам мусор собирает.

– Ну что же, подарок забавный, – хвалит Симонов, – ты его береги.

Веский, времен Наполеона Третьего, десятисантимный гро-су, который с такой уверенностью нашел Симонов на тротуаре Итальянского бульвара, завязал в мозгу и в памяти профессора целый клубок мыслей, воспоминаний и отважных идей. Сидение на овсяном супе и на спитом чае только поощряли изобретательность и энергию ума.

Вот здесь, в Пасси, думал он, близко, стоит рукой подать, находится Булонский лес, резервуар свежего воздуха, с громадным скаковым ипподромом, с двумя озерами, по которым пла-

вают ручные птицы и где можно кататься на лодках. Этот Булонский лес вовсе еще не лес, а хорошо возделанный парк. Но если пойти вглубь, по направлению к Лоншану, то можно забрести в настоящую лесную чащобу, где иногда выбегают к людям стайки грациозных, пугливых диких козочек, исчезающих миглом при неловком движении, при резком звуке. А в другую сторону Булонского леса – зоологический сад. Слоны, медведи, гиены, моржи и тюлени, фламинго и марабу, обезьяны и всякая дикая живность. Недалеко от Булонского леса – Трокадеро с интересным аквариумом, с богатым музеем, с огромным театром, где даются старые, классические, прекрасные пьесы. Всего этого никогда еще не видела милая девочка Жанета. Конечно, Симон и подумать не смеет о систематическом образовании и воспитании чумазой Жанеты. Куда ему! В свое время она пройдет материнскую школу, потом коммунальную, потом – недорогой лицей, в котором научится немного грамматике, немножко литературе, немножко физике и химии, немножко математике, немножко истории и географии, – все для того, чтобы не быть круглой невеждой. А потом, если окажется дар божий, то кто же помешает ей сделаться новой Жорж Занд или новой мадам Кюри? Но профессор умом, чутьем, инстинктом знает и верует в то, что первичные детские впечатления входят в восприимчивые души младенцев и ребятишек с такой необычайной силой и с такой стихийной мощью, которые не имеют себе ничего равного в мировом здании. Каждый свет и цвет, каждый фальшивый и музыкальный звук, каждый оттенок человеческого голоса, каждый запах и каждое движение воздуха, каждый предмет, к которому сознательно или полусознательно прикасается будущий человек, каждое услышанное и сказанное слово, каждая мысль, слабо шевельнувшаяся в несовершенном еще мозгу, каждое подобие сна во сне, каждый атом пищи, проглоченный неумелым и жадным ртом, – все эти явления, образы и предметы идут на созидание того могущественного здания, которому имя *человек* и перед которым все созданное людьми является жалким ничтожеством. «Да, – говорит сам себе с умилением профессор, – правы те мудрые учителя, которые советовали окружать рост младенца красотой и добром, рост дитяти – красотой и первичными знаниями, рост отрока – красотой и физическим развитием, рост юношей и дев – красотой и учением».

И профессор говорит дальше:

– Да, пусть Жанета ходит в свою родную школу и учится чему хочет и может на родном языке, который всегда лучшая пища для ума, но почему же ей, под моим любящим руководством, не научиться постигать бесконечную красоту, доброту, богатство и прекрасную плановость мира? Здесь одна препона: властолюбивая, суеверная, недоверчивая мать, хозяйка газетного киоска. Но ничего. Такую невинную забаву, как зоологический сад, ярмарки или театр, мы уж как-нибудь состряпаем. Недаром я человек хитрый, вроде североамериканского дикаря, на мамашу мы не станем действовать непосредственно и лично. Нет, как застрельщика, мы пустим вперед ее ами, господина Огюста, ленивого и падкого к вину пломбье²⁷. Его просьбе влюбленная дама, конечно, не откажет. А главное – это что все расходы на воскресную прогулку я беру на себя. Это ли не макиавеллиевский прием? А дружба с пломбье давно уже началась и с каждым днем становится крепче. Она несложна: пять-шесть партий в беллот, во время которых профессор будто бы не замечает, что партнер его не прочь приписать на свой счет десять-пятнадцать туров красного вина или перно, взятых Симоновым как бы по ошибке на себя, а особенно искренняя, горячая любовь профессора к Франции и французам – вот узы этой прочной дружбы, на которую уповает хитрый старый эмигрант. Но есть и другое трудно одолимое, почти совсем неодолимое препятствие: деньги. Их нет совсем и давно уже нет. Однако профессор не унывает. Он не напрасно считает себя счастливецом. Начиная от тех глубоких времен, когда он начал сознательно помнить себя, все его серьезные желания исполнялись. Исполнялись порою целиком, порою в половину, а чаще в пятую или десятую долю, но все-таки исполнялись. Помнится ему, как еще до поступления в пригостишки жил

²⁷ Водопроводчика (от *фр.* plombier).

он с родителями в Москве на Пресне, в деревянном доме, большой двор которого был настоящим ристалищем для благородной игры в бабки. И вот малышу Кольке во что бы то ни стало захотелось выиграть бабку-свинчатку, взяв ее с боя. Конечно, такую свинчатку было легко и возможно купить, самому сделать или заказать литейщику, но такая бабка не имела почета и не внушала уважения. Ценилась только бабка свинчатка-битка, которая имела бы свою батальную историю, подтверждаемую свидетельством знаменитейших в квартале игроков. Добыть такую свинчатку бывало нелегко: требовалось разбить столько-то конов и выбить столько-то свинчаток, играя с партнерами наивысочайших качеств. И Симонов выслужил-таки свою знаменитую свинчатку. Правда, через год, будучи уже в первом классе гимназии и перейдя через великое испытание.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.